

СОМОВ О. М.



ГАЙДАМАК

Гайдамак

Глава I

Так, вічної пам'яті, бувало

У нас в Гетьманщині колись Котляревський

Была осень; частые дожди растворили малороссийский чернозем; глубокая и вязкая грязь превращала в топкие болота улицы и проселочные дороги. В это время в Королевце собиралась Воздвиженская ярманка. По грязным улицам небольшого и худо обстроенного поветового городка тянулись длинные обозы; чумаки с батоном на плече шли медленным шагом подле волов своих, которые с терпеливою покорностью тянули ярмом тяжелые возы. Русские извозчики без пощады погоняли усталых лошадей, суетились около телег, навьюченных московскими товарами, кричали и ссорились. В ятках на площади толпились веселые казаки в красных и синих жупанах и те беззаботные головы, кои, уставши чумаковать, пришли к ярманке на родину попить и погулять; одни громко рассуждали о старой гетманщине, другие толковали про дальние свои чумакованья на Дон за рыбою и в Крым за солью. Крик торговок и крамарей, жида с цимбалами и скрипками; цыгане со своими песнями, плясками и звонкими ворганами, слепцы-бандуристы с протяжными их напевами — везде шум и движение, везде или отголоски непритворной радости, или звуки поддельного веселья. Огромные груды арбузов, дынь, яблок и других плодов, коими небо благословило Малороссию и Украину, лежа рядами на подстилках по обе стороны площади, манили взор и вкус и свидетельствовали о плодородии края.

Посередине площади собралась толпа народа. Молодой чумак в синем жупане тонкого сукна, в казачьей шапке с красным верхом, лихо заломанной на голове, с алым шелковым платком на шее, распущенным по груди длинными концами, и в красных сафьянных чеботах шел, приплясывая и припевая, вел за собою музыкантов и ватагу весельчаков и сыпал деньгами в народ. Чтобы показать свое удалство и богатство, он то расталкивал ногою плоды у торговок, то бил нарочно стеклянную посуду в ятках — и платил за все вдесятеро. Все: купцы, жида, цыгане, бандуристы и нищие обступили его; каждый или предлагал свои услуги, или без всяких услуг просил чего-нибудь, и каждый получал или награду, или подаяние. Большой круг составил около молодца: всяк ему дивился и хвалил его; женщины в этом случае были не последние. "Какой завзятый чумак! какой лихой парень! какой статный и пригожий мужчина! какой богатый и тороватый!" — раздавалось отовсюду.

Поодаль человек среднего роста, в простой чумацкой свите с видлогою стоял, опершись на батог, и, насвистывая в пальцы, внимательно смотрел на молодого безумца. Вид этого человека с первого взгляда не обращал на себя внимания, но, всмотревшись пристальнее, не скоро можно было отвести от него глаза. Он стоял без шапки, которую сронил в толпе. Длинный оселедец спускался с бритой его головы и закручивался около уха. Смуглое лицо,

правильные черты, орлиный нос, нагибавшийся над черными усами, и быстрые, пронзительные глаза обличали в нем ум, сметливость и хитрость, а широкие плечи и грудь, крепкие, жилистые руки и богатырское сложение тела ясно говорили о необыкновенной его силе. В движениях и поступках его, даже в самом спокойном положении, видны были решительность и смелость. Ему казалось от роду не более сорока лет, но или сильные страсти, или заботы побороднили уже чело его морщинами. Он выжидал, пока роскошный молодой чумак, обходивший в это время круг, с ним поравняется. "Здорово, Лесько", — сказал он гуляке, когда наконец тот подошел к нему. "Ба! это ты, Кирьяк? давно, от самой Умани, я с тобою не видался. Здорово, приятель, здорово!" — "Ну, как поживаешь?" — "Как видишь: бью в свою голову, пью да гуляю". — "А волю?" "Всех распродал! Отец отпустил со мною тридцать пар-остался налицо вот этот батог". — "Хорошо же ты отцу припрочишаешь на старость!" — "А, что будет, то будет! Живу, пока звенит в кармане, а перестанет звенеть — тогда или под красную шапку, или в удалую шайку". — "Дело вздумал! то есть: и в том и а другом случае ты будешь спиною отвечать за голову..." Это истолкование рассмешило стеснившуюся вокруг них толпу, и молодой чумак, не находя лучшего ответа, сам рассмеялся.

"А ты, Кирьяк Максимович, — сказал он после короткого молчания своему знакомцу, — каково чумакуешь? человек ты осторожный и даром копейки не роняешь; я видел тебя в Умани на пятидесяти парах, и ты привез туда бог весть сколько московских товаров! С тобою были лихие купчики: также любили потешиться, как и я грешный!" — "Я и теперь с ними приехал; да переморил своих бедных волов по этой слякоти и даю им отдых. Добрый человек и скотов милует, говорит святое писание". — "Знаю, что ты человек письменный; где же теперь пристал?" — "Я оставил свой табор по Путивльской дороге, над Эсманью, а сам пришел сюда принанять молодцов; мои почти все разбрелись". — "Если тебе надобно лихого погонщика, так возьми меня; батог мой исправен... Гей, цоб!" прикрикнул он, ловко помахивая ременным батогом своим. "Я добрых людей не чураюсь, — отвечал Кирьяк, — хочешь, так сейчас к делу; зайдем ко мне на постоялый двор, а там и к табору". — "Спасибо, что так сговорчив, Кирьяк Максимович! спасибо, что ты не таков, как те седые чубы, которые бранят нас, молодых парней, за шалости и не верят, если раз замотаемся... Прощайте, приятели! вот вам на расставанье". — Тут Лесько метнул в народ последнюю горсть мелкой монеты; все бросились подбирать — и когда оглянулись, то уж обоих чумаков как не бывало.

Глава II

То пан Хмельницький добре учинив,

Польщу засмутив,

Волощину побідив,

Гетьманьщину взвеселив. Старинная малороссийская песня

В конце городка стоял маленький полуразвалившийся домишка; в нем приставали приезжавшие на ярманку евреи, которые почти всегда под ветхою кровлею прячут от любопытных и завистливых глаз накопленные ими богатства и часто всякими неправдами добытые драгоценности. Еврей Абрам, заперши двери засовом и наглухо закрыв ставнями окна, отбивал доньшки у маленьких бочонков, вынимал из них дорогие жемчуги, перстни, серьги и другие золотые вещи, осыпанные блестящими камнями, и раскладывал их по ящикам, готовя к ярманке на продажу. Он беспрестанно прислушивался, озирался и при малейшем шуме снаружи бледнел, как Каин.

Вдруг кто-то дважды стукнул в дверь. Абрам вздрогнул, но вспомня, что это условный знак товарища, накинул про всякий случай толстое полотно на стол, на котором отбирал вещи, и отнял дверной засов.

— Горе и страх сынам Иуды! — вскрикнул, всплеснув руками, вошедший жид, между тем как товарищ его снова запирает дверь, — горе и страх! я видел его...

— Кого? — торопливо спросил Абрам.

— Его, гайдамака, Гаркушу! — отвечал Гершко печальным голосом. — Ты его знаешь, он не посмотрит на город и людство; налетит на нас, как Сеннахерим, заберет и свое, и наше.

— Я говорил тебе: не водись с этим проклятым моавитом! Долго ли до беды.

— Знал ли я, ждал ли я, когда он на Волыни отдавал мне для продажи пограбленные им вещи, что через три луны увижу его здесь в Малороссии? Ах! эти большие серебряные стопы, эти богатые золотые цепи, эти яркие дорогие перстни пана Манивельского! сгубят они нас!

— Опомнись! разве ты не еврей? Бог отнял у нас силу и смелость, а мы поневоле взяли за хитрость и пронырство. Придумаем, как бы спастись от когтей сего месопотамского коршуна. Но где и как ты его встретил?

— Я бродил в толпе этих назареев и высматривал, не удастся ли чего повыгоднее купить или продать. Вкруг одного погибшего сына стеною стеснился народ, и всякий подбирал серебро, расточаемое безумцем. Я также думал пробраться к нему, хотя ползком... Взглянул и вижу в толпе услужника Велиалова. Тогда я притаился за народом, и когда он увел с собою молодого чумака, я шел за ним издали; припав за забором, сторожил его выход из постоялого двора и видел, по какой дороге они вдвоем отправились.

— Послушай: нам надобно обсудить, как бы и свое спасти, и чужого не выпустить из рук. Благодаря нашим братьям, которые повсюду рассеялись и везде ведут торги, если чего не посмеем выказать здесь, то Польша и немецкая земля велики: там будет простор и нажитому, и добытому.

— Правда, правда! только как теперь избавиться от гайдамака?

— Знаешь ли ты здешнего поветового судью?

— Пана Ладовича? как не знать; добрый пан, честный пан! В нем только три худа: что не слишком жалует евреев, что ему ничего не продашь, а его ничем не подкупишь.

— Зато у него и своим не лучше наших, когда у них руки или совесть не чисты. Слушай же: ступай ты к нему, расскажи про гайдамака все, что знаешь, укажи дорогу, по которой он пустился, — и после спокойно переплавливай в слитки золото и серебро и сбывай алмазы и яхонты пана Манивельского.

— Рабби Рувим! ты умный человек, Абрам. Так к делу, не теряя времени. Сейчас иду к поветовому судье.

— Не забудь только взять серебряных ключей: не для него, он ничего не возьмет, а для челяди, которая всегда и везде жадна, как наши праотцы в пустыне.

Гершко пошел скорым еврейским шагом к дому поветового судьи, согнув шею, заложа обе руки в карманы и бросая вкруг себя недоверчивые, испытующие взгляды.

На крыльце судейского дома встретил его молодой цыган, живший у пана Ладовича для услуг, а больше для забавы. Он был одет казачком; на шее у него висел на широкой ленте

торбан, на котором он обязан был играть перед гостями и веселить их своею пляскою и пеньем. Не по летам был он высок и статен; живое и выразительное лицо его, на которое падали черные самородные кудри, могло бы назваться прекрасным, если б излишняя смуглость не затмевала его пригожества; под широкими сросшимися бровями прыгали быстрые, огненные глаза; во всех его движениях заметны были ловкость, проворство и лукавство.

— Здравствуй, Жале, — сказал ему Гершко, подойдя к крыльцу.

— Здравствуй, свиное ушко! — отвечал цыганенок.

— Как поживаешь, Жале? — продолжал льстивый еврей.

— Хорошо, твоими молитвами: скачу, пою и щиплю твою братью жидков, когда попадутся. Ты какво поживаешь? все ли по-прежнему обманываешь простаков и копишь золото?

— По-прежнему, — отвечал жид с притворным простосердечием и как бы не вслушавшись. — Пожалуйста, Жале, доложи обо мне пану поветовому судье...

— Ему не до тебя, у него теперь гости.

— Крайне важное дело, не терпящее отсрочки...

— Верно, векселя, которым минули сроки, или покупатель, не заплативший денег?

— Что тебе до этого; твоё дело доложить.

— Так потерпи ж, пока пану будет время. Постой здесь: вы привыкли стоять без шапок на дворе во всякую погоду, а теперь еще не зима.

Сколько жид ни упрашивал, но цыганенок только вертелся вокруг его, дразнил, подергивал его за длинные рыжие пейсики и за полы платья и делал ему разные проказы.

— Душа моя, Жале! перестань и пойдешь докладывать; я не даром прошу тебя..

Тут еврей со вздохом вынул из-под полы небольшой изношенный кошелек и начал дрожащею рукою вытаскивать одну по одной мелкие серебряные монеты, как будто боясь обсчитаться. Но резвый цыган не дал ему кончить: подбежал, подставил руку и, вытряхнув в нее все деньги из кошелька, пустился от жида во всю прыть.

— Стой! я закричу гвалт, наделаю шуму, стану стучаться в двери! пан судья не даст меня в обиду.

— А если я доложу ему о тебе, будут ли эти деньги мои?

— Твои, твои! только скорее.

Цыганенок опрометью бросился на крыльцо, вошел в комнаты и через несколько минут вышел сказать жиду, что судья его ожидает.

— Что тебе надобно, еврей? — сказал пан Ладович, когда жид кончил низкие, почти земные свои поклоны.

— Ваша ясновельможность! я инею вам донести о важной тайне, — отвечал жид, оглядываясь на стоящего тут цыганенка.

— Так ступай за мною, — сказал судья, ввел его в небольшую боковую комнату и притворил дверь.

Цыганенок, по свойственному летам и породе его любопытству, а может быть по каким-либо догадкам, приставил к двери внимательное ухо, навывшее слышать издали, и не отходил прочь, пока не кончился разговор. Тогда он на цыпочках отошел и стал на прежнее место.

Судья пошел к гостям своим, а жид отправился домой, отвесив снова несколько поклонов. Цыганенок выбежал за ним на улицу.

— Послушай, Гершко! ты купил меня своим подарком, и я хочу тебе отплатить по-приятельски. Там, над Эсманью, остановились обозом знакомые мне купцы; они дешево продают разные шелковые товары и другие вещи: видно, провезли их по-твоему — без пошлины. Я давно уже хотел удружить доброму человеку: благо, что ты мне первый попался.

— Спасибо, спасибо за приязнь! А как их отыскать?

— Не мудрено: они стали над яром вправо от большой дороги, под леском. Только поспеши, чтоб они всего не распродали; они для того и в город не въезжают, что хотят сбыть с рук все лишнее.

— Сегодня же, хоть и поздно, отправлюсь туда... Прощай!

Жид пошел скорыми шагами, а цыганенок лукаво покачал вслед ему головою, посмотрел во все стороны, прокрадся в боковой переулочек и подал знак свистом.

На свист его выказался из-за забора высокий и сухой цыган свирепого вида. "Зачем зовешь меня?" — сказал он отрывистым голосом.

— Понура! не трать ни минуты, — на коня и скачи в табор гайдамаков; скажи там, что жид Гершко донес поветовому судье о Гаркуше и дал его приметы; что сейчас пошлетя за ним погоня; скажи, что я спровадил Гершка к ним в табор за товарами; пусть сладят с ним, как знают. Оттуда опрометью ступай по следам Гаркуши и дай ему осторогу...

— Славно! ты добрый малый, не выдаешь своих. Мы недаром тебя продали пану Ладовичу...

— Тс! слышится шум... Прокрадься отсюда, хоть на четвереньках — и давай бог ноги! — С этими словами молодой цыган исчез.

Он вошел в светлицу, или гостиную комнату, судьи как такое лицо в доме, которому за его дар увеселять многое было позволено и которое позволяло себе еще больше.

В гостиной было тогда очень шумно. Гайдамак и его дерзкое появление сделались предметом общего разговора.

Судья, подсудок, подкоморий и возный, уже разославшие гонцов по разным дорогам для задержания Гаркуши, — теперь, отошедши в сторону, совещались о мерах, которые Должно было принять для безопасности города и повета от набега бесстрашной шайки удальцов. Прочие гости все толковали разное, и все об одном.

— Давно не было вести о гайдамаке, — говорил отставной сотник Ченович, — слух о нем было призамолк, с тех пор как он за Лубнами ограбил богатого и скупого пана Нехворощу и наделил одного бедного казака...

— Извините, — перервал речь его войсковой писарь Потяга, — давно ли все жужжали, что Гаркуша на Украине обобрал до нитки тучную ростовщицу Цвинтаревичку и вдобавок сделал ей сильное поучение нагайками за то, что она прогнала из дому простака своего мужа?

— Это жужжало только у вас в ушах, господин войсковой писарь, — отвечал ему Ченович, — носился слух, что гайдамак после ушел за Киев...

Спор загорелся; колкости с обеих сторон посыпались градом, и, как водится в больших собраниях, одни поджигали спорщиков, другие принимали их сторону, все шумели. Но миролюбивый хозяин, предвидя неприятный конец спора, заклил бурю: он ввел в гостиную слепца-бандуриста, давно уже в передней ожидавшего, когда его позовут, и вежливо пригласил гостей своих послушать веселых дедовских песен и стародавних былей.

Безыскусственная игра на многострунной бандуре и звучный, полный, хотя необработанный голос слепого певца, попеременно унылые и веселые напевы малороссийских песен нравились неизбалованному слуху земляков его, страстных к музыке, одаренных верным ухом и впивающих с чистым воздухом родины способность и склонность к пению. Вдруг вещий слепец переменял строй: пальцы его медленно и торжественно перебежали по звонким струнам бандуры; и он молчал еще, но внимание всех было приготовлено; жадный слух ловил уже в знакомых звуках близкие сердцу напевы и предугадывал смысл самой песни.

Несколько минут он молча прелюдировал; наконец запел, или лучше, заговорил по музыке следующие слова:

З низу Дніпра тихий вітер віє, повіває;

Військо козацьке в похід виступає;

Тільки бог святий знає,

Що Хмельницький думає, гадає.

О тім не знали ні сотники,

Ні атамани куріннії, ні поковники,

Тільки бог святий знає,

Що Хмельницький думає, гадає!

Певец повествовал о быстром набеге гетмана Хмельницкого на союзную Польше Молдавию, о страхе и жалобах ее господаря Василия Липулы, о робком бегстве ляхов из Сочавы и заключил песнь свою обращением к славе Гетманщины:

В той час була честь, слава,

Військова справа!

Сама себе на сміх не давала,

Неприятеля під ноги топтала

Громкие знаки одобрения и восторга раздались по светлице. Между ними прорывались и вздохи на память старой Гетманщине, временам Хмельницкого, временам истинно героическим, когда развившаяся жизнь народа была в полном соку своем, когда закаленные в боях и взросшие на ратном поле казаки бодро и весело бились с многочисленными и разноплеменными врагами, и всех их победили; когда Малороссия почувствовала сладость

свободы и самобытности народной и сбросила с себя иго вероломного утеснителя, обещавшего ей равенство прав, но тяжким опытом доказавшего, что горе покоренным!

Глава III

Усі звiзді потьмарило,

Половину ясності місяця заступило;

З чорної хмари

Буині вітри вставляли Старинная малороссийская песня

Дул сильный холодный ветер; дождливые облака разносились по небосклону; луна то выплывала из-за туч, то пряталась за мрачными их грядками. В это время жид Гершко шел один по дороге; он часто останавливался, вслушивался в вой ветра и шелест желтых осенних листьев, падавших на землю и крутившихся вихрем по дороге; робея при малейшем шорохе, он готов был затаиться в глуши. Но так сильна в еврее страсть к прибытку, что он пошел бы на явную опасность, если бы знал, что, избегнув ее, получит барыш. Из бережливости или по благоразумию Гершко надел самое ветхое платье и по тому же благоразумию взял с собою денег очень немного, в надежде, что, сторговавшись с купцами за товар и дав им задаток, уговорит их принять остальную плату в условленном месте.

В таборе его ждали. Шайка кочевала при дуброве, в месте пустынном, над глубоким, крутым оврагом, примыкавшим к самому берегу Эсмани. Гайдамаки, отогнав волов на пастбище, сделали из возов своих род стана или каре и обвешали их непроницаемыми для взора полстями, чтобы любопытному прохожему не видно было, что делается внутри табора. Чтоб еще более отклонить подозрения, часть гайдамаков была одета чумаками, другая русскими купцами, у которых будто бы первые нанялись везти товары на ярманку. Сторожевые стояли повсюду: по дороге, над оврагом, по берегу Эсмани и по опушке леса. Внутри табора гайдамаки поделились на кружки: одни старались в вине затопить воспоминание грозившей им и атаману их опасности, другие, самые беззаботные, курили табак и играли в кости и карты; но самые заботливые рассуждали, как избыть беды и спасти атамана. Кони их были уже готовы в ближнем лесу; табором они не дорожили: тем, что было навьючено на конях, могли б они скупить все чумацкие обозы в Малороссии.

— Вот вам честный еврей, который спрашивал у меня русских купцов над Эсманью, — сказал гайдамак, стороживший на большой дороге, ведя за собою Гершка, который кланялся, сложив руки на грудь и бросая недоверчивые взгляды. Как рой шмелей, гайдамаки сыпнули к нему со всех сторон.

— Узнаешь ли меня, земляк? — сказал ему выкрест Лемет, — я хочу на тебе доказать благодарность свою тебе и всему бердичевскому еврейскому обществу. По милости вашей — я крестился, и по вашей же милости, бедный Лейба теперь в честной компании.

— Святые праотцы! — вскричал несчастный Гершко, предвидя участь, его ожидавшую, и разгадав, в какие сети завлек его коварный цыганенок.

— Не до праотцев, а до нашего отца атамана! — закричали ему многие голоса. — Сказывай, злодей, что с ним сделалось?

— Что хотите, честные господа! хоть замучьте меня — не знаю.

— Запираться не время: мы сами не меньше тебя знаем, что ты продал Гаркушу поветовому начальству, что за ним разосланы поиски. Если ты не знаешь, где он теперь, — то для тебя ж хуже.

— Как бог свят, не знаю.

— Ну, делать нечего, товарищи, — сказал гайдамак Несувид, занимавший должность атамана в его отсутствие, — прироваривайте, какую казнь положить ему за измену.

— Прежде всего, — подхватил Лемет, — поджарить его, как тарань, на тихом огне и допросить, где он упрятал дорогие вещи, данные ему атаманом на продажу.

— Досуг толковать о такой безделице, когда дело идет о жизни Гаркуши! видно, ты и теперь еще такой же жид: у тебя все для золота... Товарищи! к голосам.

— Повесить его на осине: на ней и брат его Иуда повесился, — сказал один гайдамак.

— Отдайте его мне, — перебил цыган Паливода, — я расплющу его молотом на наковальне глаже, чем он расплющивал медные кружки для фальшивых червонцев.

Злобный смех раздался во всей шайке; бедный Гершко был ни жив, ни мертв: холодный пот проступал по всему его телу; все члены были в судорожной лихорадке.

— Не лучше ли, — подал свой голос гайдамак Товпега, — кончить с ним без затей: Эсмань близко, жернов у нас есть... Пустим его греться по месяцу.

Предложение принято, жернов прикачен и крепкою веревкою привязан к шее несчастного жида; его потащили к берегу и покатали за ним жернов. Тогда, вдруг вышед из бесчувствия и видя, что ни просьбы, ни слезы не помогут и не смягчат злодеев, закричал он жалким, пронзительным голосом, раздиравшим душу и возвещавшим последнее, отчаянное усилие существа, расстающегося с жизнью.

Ветер разносил вопли еврея. Луна вышла из-за облак и в полном сиянии катилась по темно-синей тверди. В это время старец Питирим, инок П***ского монастыря, ходивший навещать больного в одном отдаленном хуторе, возвращался береговой тропинкою в смиренную свою обитель. Голос погибающего человека проник ему в сердце, и он поспешил на помощь, забыв свою старость и слабосилие, забыв, что сам может сделаться жертвою христианского сострадания. Он увидел свирепые лица и зверскую радость гайдамаков, увидел жалкого иноверца — и ревность к добру придала ему крылья.

— Стой! — закричали разбойники, — руку на нож!

Но старец Питирим не робко подошел к ним, и гайдамаки, из невольного уважения к его сану и летам, остановились. Тогда инок начал свое увещание, представил им всю важность преступления и гнев небесный, постигающий убийц.

— Безумцы! — заключил он речь свою. — Кто дал вам право разрушать превосходнейший дар божества — жизнь человеческую? Кто дал вам право быть судиями чужих поступков, когда карающий меч правосудия висит уже над преступными вашими головами, и муки ада, стократ лютейшие всех терзаний телесных, ждут вас после бесчестной смерти от руки палача?..

Гайдамаки, в которых вдохновенное красноречие старца минутно пробудило совесть, поникли головами, не смели поднять на него глаз и, спустя руки, стояли в нерешимости. Бедный Гершко, чувствуя, что его не держат, упал к ногам монаха, обнимал его колена, стирал лицом

пыль с его ног и заклинал спасти ему жизнь.

— Я сделаюсь христианином, — говорил он с плачем, — отдам на ваш монастырь все... все, что имею, очень немного; несколько серебряных монет...

Инок, не могши победить внутреннего презрения к человеку, в котором корыстные склонности пересиливали даже мысль о самохранении, невольно отвратил от него лицо свое.

— Честный отец! иди своею дорогой, — сказал тогда суровый Несувид. — Мы знаем, на что решились — знаем, к чему осуждаемся на том и на этом свете. Но если б одним волосом сего негодяя могли искупить свою жизнь или души, то и тогда б не миновать ему петли и песчаного дна эсманского... Товарищи! дружнее за работу.

Монах вздрогнул от слов закоснелого злодея. Между тем одни из гайдамаков принялись раскачивать жиды, другие жерновы, чтоб лучше и дале бросить их от берега. Отчаянный вой несчастливца перерывался быстротою и силою качки. Монах стоял, как в онемении, возведя глаза и воздев руки к небу. Крик бедной жертвы мщения терзал его душу; и вдруг крик умолк — вода расплеснулась и скрыла свою добычу.

Глава IV

На конях іхали чинненько,

З люльок тютюн тягли смачненько.

А хто на конику куняв Котляревский

Утро было ясно и свежо. Рассыльные казаки и понятые ехали по Глуховской дороге от Путивля и везли в середине человека, у которого руки и ноги были связаны. Казалось, однако ж, что бодрость и надежда не совсем его покинули; он весело разговаривал с окружавшими, шутил с ними, рассказывал были и небылицы и приковывал жадное их внимание умным и живым своим разговором.

"Молодец! весельчак! нечего сказать: скручен, как теленок, которого везут на убой, — а все не унывает!" — "Мне все не верится, чтоб это был Гаркуша; посмотри: человек как человек, нет семи пядей во лбу!" — Так разговаривали двое из понятых, ехавшие позади. "Да как его поймали?" — продолжал последний.

— На всякого мудреца много простоты. Вот видишь, у него было похоронище, в глухом месте, над Сеймом, близ Клепала; там он прятал награбленные им богатства. Вчерась, когда удалый королевецкий рассыльный казак Моторный следил за ним с четырьмя своими товарищами, заметили они, что гайдамак пробирается к тому месту. Они видели, как он сошел с коня, и сами, оставя лошадей за ивняком, почти ползком прокрались к кустарнику, за которым Гаркуша, отыскав заступ, начал разрывать землю. Вдруг они на него бросились и, не дав опомниться, свалили с ног, связали ему руки и ноги, завязали рот, прикрутили молодца к седлу его же коня и вскачь пустились с ним к селению за понятыми. Остальное ты знаешь.

Конвой между тем приближался к Клевенскому перевозу. Сквозь просеки приятной рощицы видны были вдаль, на высоком прелестном месте, большой помещичий дом и купол церкви села В***на; внизу текла излучинами быстрая Клевень, сливающая воды свои с Эсманью; по долине, за тундрами и сагами, мелькали купы дерев, хутора и мельницы. Узник, казалось,

любовался видами и любопытно расспрашивал о всем своих проводников; в таких разговорах подъехали они к перевозу.

Паром был уже готов. Казаки и понятые взвели на него гайдамака, поставили усталых коней своих к одной стороне и столпились вокруг пленника. Только ретивый конь Гаркуши, не зная устали, бил от нетерпения в доски копытами и, казалось, хотел пуститься вплавь к другому берегу. К нему приставили одного из понятых и велели крепко держать за повод.

Гайдамак окинул беглым взором своих спутников; потом, устремля глаза на крутые горы противоположного берега Клевени, сказал:

— Кажется, там, за этими горами, влево есть селение над Эсманью... Не могу вспомнить его имени. Покойный дед мой был родом из здешней стороны и часто рассказывал нам, ребятам, страшную быль об этом селении.

— Какую? — спросили в один голос вожатые, увлеченные любопытством и уже прежде заохоченные искусными его рассказами.

— Хорошо вам, друзья, слушать на свободе! у меня гортань пересохла от жажды, а руки и ноги затекли кровью от ваших веревок.

— В самом деле, братцы, к чему его мучить без нужды? Паром теперь отчалил, нас здесь человек сорок, уйти ему нельзя. Развяжем ему руки и ноги, пока на середине реки; а начнем приставать к берегу, тогда пусть не погневаётся, опять опутаем молодца по-прежнему.

Так говорил один казак, и товарищи охотно его послушались. В наружности и речах Гаркуши было нечто такое, что вожатые, при всем убеждении в его преступлениях, почувствовали к нему невольное доброхотство. Они совершенно потеряли суеверный страх, который на малороссиян наводило одно его имя.

Руки и ноги гайдамака уже свободны; ему поднесли полную кружку вина, которую он выпил "за здоровье братьев земляков". Тогда все приступили к нему, прося рассказать страшную быль, и он начал:

— Давно, не за нашею памятью, селение, о котором я говорил, было за другими панями. Один из них был человек чудной: не ходил в церковь божию, чуждался людей, считал звезды ночью, собирал росу на заре и папоротниковый цвет под Иванов день. — Никто не знал, какую смертью он умер и где погребен; только видели, что в ту ночь, как его не стало, огненный клуб прокатился над селением и рассыпался искрами над самым домом панским. Дом сгорел дотла, а с ним и все, что в нем было. Вот, спустя малое время, начали делаться дела небывалые и неслыханные. Каждый день, и в самую полуденную пору, при ясной погоде, вдруг набегут облака и застелют солнце, подыметесь пыль столбом по дороге, и сквозь пыль видали те, кого бог не миловал от такого виденья, что старый пан (как его называли) вихрем пронесется по селу в старинном рыдване, шестеркою черных как смоль коней, которые, пенясь и сарпая и бросая искры из глаз, на четверть не дотрогивались до земли. Кучера и лакеи сидели на своих местах, как окаменелые, в белых саванах, с бледными лицами, со впалыми глазами, — словно теперь только вырыты из могил. В один день...

В эту минуту паром приставал к берегу; некоторые из провожатых сидели на помосте с полурастворенными ртами и жадно ловили каждое слово; у одних волос становился дыбом, у других лица вытягивались от ужаса; державший коня гайдамакова опустил руку с поводом и стоял как вкопанный. Вдруг Гаркуша одним прыжком через сидевших выскочил из круга, столкнул в воду оплошного надзирателя за конем, впрыгнул в стремя, перескочил расстояние, отделившее паром от пристани, и стрелюю полетел на крутизну. На самом гребне придержал он коня, махнул шапкою своим сторожам и, вскрикнув: "Спасибо, земляки, за

ласку!" — исчез за склоном горы.

— Человек это — или бес? — рассуждали' провожатые, опустя головы и еще не опомнившись от столь внезапного побега. — Разве мы не знали, что он водится с нечистою силою! как он нас обморочил...

Долго стояли они на пароме, не зная, что начать, и не смея взглянуть друг на друга.

Главы из малороссийской повести

Глава I

Скачи, враже, як пан каже. Малороссийская пословица

Лет за пятьдесят Малороссия была странною поэтической. Хотя жизнь и занятия мирных ее жителей были самые прозаические, как вы узнаете, милостивые государи, из моих рассказов, если станет у вас терпения; зато вековые, непроходимые леса, пространные степи и худо возделанные поля, а в селах полуразвалившиеся хижины и заглохшие сором и крапивою улицы переносили воображение в веки первобытные, которые, как известно, составляют удел и собственность поэтов. Удел, мимоходом сказать, небогатый; и оттого-то мы встречаем питомцев Фебовых в изношенных и забрызганных чернилами платьях, а ищем — на чердаках. Но теперь речь не о них, а о жизни и занятиях малороссиян.

Простой народ пил, ел и дремал в роскошной лени зимою, зарывшись на печи в просо или овес, сушимые для домашнего обихода. Хотя он не мог похвалиться перед итальянцами климатом и красотами природы; но не уступал им ни в лени, ни в сладкоголосных своих песнях. Летом мужчины кое-как обрабатывали свои поля и убирали жатву, охотно ходили чумаковать, т. е. с обозами за рыбой и солью; зимою ж, если холод не выгонял их в лес за дровами, которых они никогда не заготавливали на целую зиму, если недостаток других жизненных потребностей не заставлял их отвозить на базар небольшой свой запас хлеба или крайняя бедность не запирала в дымной винокурне зажиточного заводчика; то они как будто держали заклад с медведями, кто кого переспит. Промежутки между сном проводили они в шинках, где, потчюя друг друга, за чаркою вина вспоминали старину и свои чумакованья. Женщины белили хаты свои к Рождеству и Велику-дню (празднику Пасхи), содержали в опрятности дом, варили вкусный борщ, ухаживали за домашнею скотиною, а в зимние вечера при свете ночника пряли, рассказывая соседкам страшные были о ведьмах, мертвецах и русалках; но вообще в это время года были они гораздо досужливее и полезнее мужьев своих.

Девушки и молодые парни проводили время веселее и разнообразнее. Зимой они собирались вместе на приманчивые вечерницы, и здесь-то малороссийские красавицы истощали все пособия сельского кокетства, привечали и часто обманывали доверчивых молодцов. Косы, заплетенные в дрибушки или перевитые разноцветными скиндячками, радужная плахта, штофовый или парчевый корсет, едва состегивающийся под грудью гаплицами, белый суконный кунтуш, по фалдам коего, отделяющимся от стана, расшиты были черным шелком усы, и сафьянные чоботы — составляли наряд щеголеватой малороссийской девушки.

Черный цвет волос и бровей и живой румянец в щеках почитались неизменными условиями красоты; посему с помощью зеркала и услужливой пробки или, за недостатком ее, — накопченной иглы светлого цвета брови часто превращались в лоснящиеся черные, а таящийся в бледных щеках румянец вызывался наружу щипким надощником или осторожно заменялся настоенным в вине сандалом. Жупан или свита нараспашку, казачья шапка с красным суконным верхом, красные или желтые чоботы, иногда цветной шелковый платок, небрежно повязанный на шее, — таков был убор молодого малороссиянина до танца. Музыка была не по найму: один из посетителей сего сельского клуба приносил гудок или скрипку, балалайку, сопелку или на чем был горазд и, наигрывая дудочки, метелицу, горлицу или казачка, вливал огонь и быстроту в гибкие члены молодой толпы.

Панки, или мелкопоместные дворяне жили почти так же. Бусинки сельского панка были не многочисленны светлицами; иногда тесовые или чисто выбеленные стены с божницею, с простою дедовскою утварью составляли все их украшение; иногда стены пестрели и удивляли глаза простодушных гостей теми самыми или подобными тем изображениями, какими Котляревский убрал палаты царя Латана в IV-й песни своей «Энеиды». Чай не всегда и не везде подносился гостям и часто заменялся варенухою. Терновка, вишневка, дулевка, рябиновка и другие наливки на домашнем хлебном вине, изредка вина сикийское, монастырское и волошское услаждали неразборчивый вкус так же, как позже вина венгерские, рейнские и французские.

Вот, в коротких словах, образ жизни тогдашних малороссиян. Панки отстали теперь от него: потчуют гостей чаем и вареньями, а панночки играют на фортепиано и танцуют экосезы; но простой народ все еще держится коренных обычаев. Не станем, однако ж, выходить из описываемой нами эпохи и взглянем на частные картины.

Воздвиженская ярмарка в Королевце приходила к концу; залетные гости, купцы московские, жида из Бердичева и Белой церкви и пр. и пр. отправились искать на других ярмарках или неверных выгод, или неожиданных потерь. Королевцец стал пустеть, как наши поля и болота во время осеннего перелета птиц; только сентябрьская непогода, дожди и грязь основали постоянное свое пребывание в городке и окрестностях его до поздних заморозков. Пан Гриценко в это время праздновал именины своей дочери, прекрасной, милой и доброй Евфросинии, которую, по малороссийскому сокращению, все называли Присею. Пан Гриценко был богат, а Прися его единственная наследница: мудрено ли, что распутица не помешала любителям пламенных, черных глазок и охотникам до сытных блюд и вкусных наливок собраться у зажиточного соседа? Прелестная Прися должна была из своих рук подносить гостям наливки и варенуху, которую сама приготовила; с милою, стыдливою улыбкою, с опущенными к полу ресницами и застенчивым поклоном говорила она каждому обычное приветствие: "На здоровье!" Таким образом, при звуке серебряных чарок и филижанок, в шуму речей и малороссийских песен, время летело, и короткий осенний день смешался с хмурым и туманным вечером. Многие из гостей встали и хотели уехать; пан Гриценко, по врожденному гостеприимству малороссиян, удерживал всех, наливал чару за чарой и просил посидеть.

— Нет, не погневайтесь! — говорил толстый подкоморий Кныш — Дорога ко мне идет по косогору и у самого леса; волки кодят теперь стаями, я почему знать — может быть гайдамак...

— Полно, полно! — прервал речь его Гриценко. — К чему пугать любезных моих гостей? и как сюда ждать гайдамака, и что ему здесь делать? Если кандалы не подкосили ему ноги и колодка не скрючила шею, то он верно теперь не ближе отсюда, как верст за пятьдесят, где-нибудь на Королевцевской дороге, поджидает богатого московского купчика с товарами или беломорского грека с винами. Вы знаете, что теперь разъезжаются с ярмарки.

— А что в самом деле, не слышно ли чего о гайдамаке? — спросил один из гостей.

— Как? — подхватил словоохотный подкоморий, считавшийся в своем кругу приятным рассказчиком и живую газетой всех новостей. — Неужели вы ничего не слышали о том, что случилось в Королевце? Ну так я вам расскажу. Племянник мой был там на ярмарке и привез мне самые точные и подробные известия — При сих словах подкоморий посмотрел на все собрание с самодовольным и отчасти горделивым видом как человек, знающий то, чего другие не знают.

— Вот, милостивые государи, как было дело, — продолжал подкоморий Гайдамак вдруг явился среди бела дня на ярмарке, в толпе народа. Никто не смел его тронуть даже пальцем: самые отчаянные смельчаки боялись не столько его силы, сколько его бесовского художества и мороченья Он похаживал как индейский петух, спесиво раздув хохол и посматривая на боязливых: куда ни обернется — толпа народа так и отхлынет, как дым от ветра. Тут откуда-то выискался жид, который, как и весь их жидовский род, видно, знал чернокнижие не хуже Гаркуши. Он явился к поветовому судье и сказал ему наедине, посмотревши на звезды и на воду, где и как можно поймать гайдамака живым и без всякого сопротивления, ну словно, как мы ловим зайца тенетами. В полночь жидок с рассыльщиками и понятыми напал на гайдамака врасплох, когда тот спал под чистым небом в каком-то глухом месте, отговорил начерченный им около себя волшебный круг, услал за тридевять земель сторожившего над ним нечистого духа и выдал Гаркушу рассыльным казакам, которые тотчас его скрутили и повезли в Глухов. Только ненадолго его взяли при переправе через Клевень на пароме, он вдруг околдовал своих конвойных: все они, человек сорок, не могли тронуться ни руками, ни ногами, хотя слышали, как вдруг расплеснулась вода в Клевени, видели, как оттуда выскочил на паром черный конь с огненными глазами, как Гаркуша сел на него, взвился над рекою и берегом — и поминай как звали! Все это рассказывали они уже спустя шесть часов после этого случая, а до тех пор оставались окаменелыми на пароме и они и их лошади. С жидом было и того хуже: он вдруг исчез, так что не заметили, в воду ли канул или в дым сотлел. Нечистая сила, видно, покарала своего прислужника за то, что он выдал ее любимца.

— Да, гайдамак ужасный чернокнижник: дунет на воду — и вода загорится, махнет рукою на лес — и лес приляжет, — сказала одна дородная гостья и, конча речь, как заметно было, шептала молитву.

— И лихой удалец, — примолвил отставной хорунжий Черемша, — с дюжиною своей вольницы набежит на целый обоз, подвод во сто и более; не побоится ни ружей, ни рогатин, свистнет, гаркнет: "Ниц головами!" — и все прилягут, пока он не очистит возы ото всего, что получше да подороже.

— Охота вам, господа! — еще раз перервал хозяин, — рассказывать такие незабавные новости? Вы и так уже напугали мою именинницу: смотрите, она сидит в углу и чуть не плачет.

И в самом деле Прися, в промежутках потчеванья гостей своих, сидела в углу, одна, вдали от всех, с поникшею головою. Лицо ее было печально, частые вздохи волновали высокую грудь ее; в кругленьких, полненьких щечках то вспыхивал яркий румянец, то вдруг сбегал с них и уступал место бледности. Не от ужасных рассказов тосковала милая девушка: нет! они ее не занимали, она их не слушала. Год назад она провела этот день с другом своего сердца, Демьяном Кветчинским, молодым, пригожим и ловким офицером одного гусарского полка. Кветчинский был сын одного соседнего дворянина; отец его был беден, но Демьяна воспитал в Киеве и за четыре года пред тем из последнего снарядил его на службу царскую. Демьян служил с отличием, скоро произведен был в офицеры и за год до описываемого здесь времени приезжал в отпуск к отцу своему. Тут познакомился он с домом пана Гриценка, увидел Присю, влюбился в нее страстно, изъяснился ей в любви и получил взаимное признание робкой девушки. Ободренный ее любовью, личными своими достоинствами и благословением отца своего послал он сватов к пану Гриценку; но получил оскорбительный

отказ, 'сопровожденный насмешкою, верным изъявлением спеси богатого и старинного малороссийского пана. Отец Приси отвечал, что не отдаст дочери своей за бедняка, который сверх того не может насчитать и трех поколений в дворянской своей родословной. Ни слезы, ни уверения Приси, что кроме Демьяна Кветчинского она не будет ничьею женою, — не сильны были разжалобить упрямого старика. С тех пор влюбленные виделись только однажды и то мельком; поклялись друг другу: она — что расплетет девичью свою косу разве только под клобук монахини, а он — что сосватается разве только с пулею неприятельскою. Демьян уехал в армию, и уже более десяти месяцев не было о нем ни слуху, ни духу. Прися тосковала, плакала как дитя; но грусть ее, как и грусть дитяти, не была глубока, не иссушила ее сердца и не изменила юной ее красоты и свежести. Только в день своих именин, оживляя в душе своей память прошедшего, она была грустнее обыкновенного и, хотя стыдилась плакать при гостях, чтобы злые языки не вывели из того каких-либо предосудительных для нее заключений, однако ж беспрестанно задумывалась, вздыхала и изменялась в лице, как мы видели выше. Отец ее первый это заметил; ибо гостям, за попойкою и разговорами, было не до того.

— Что с тобою случилось, дитя мое? — сказал он, подошед и поцеловав ее в лоб. — Не бойся: бог милостив; он не попустит, чтобы такой ангел, как ты, такая добрая и послушная дочь, пострадала от набегов и грабительства гайдамаков. Это все сказки: Гаркуши здесь поблизости нет и не будет. А! да я и забыл, что у нас именины без музыки; это и в самом деле скучно, особливо молодым девушкам: их ноги не привыкли быть в покое... Эй, Стецько!

Стецько, камердинер и вместе скороход пана Гриценка, явился у дверей в разодраной свите, с босыми ногами и полурастворенным ртом, уставил неподвижные глаза на своего пана и ждал приказа.

— Беги опрометью, вялое животное, и позови сюда слепца Нестеряка с бандурою.

— Шкода! — жалко пропищал Стецько, пожимая плечами и не двигаясь с места.

— Шкода будет тебе, если еще разинешь рот.

— Власть панская! — продолжал Стецько, все еще не уходя и тем же голосом. — Только на дворе ночь хоть глаз выколи, дождь как из ведра, грязь по колени. До нестеряковой хаты далеко: она на краю села; а там у оврага всякую ночь люди видят черную собаку, и все в один голос говорят, что это упырь; кто знает, может быть, сам Нестеряк: этот слепой леший не мне одному кажется колдуном.

— Ступай же, пока я не заколдовал тебе язык, — закричал Гриценко, толкая его в сени.

Делать нечего: бедный Стецько дождем был отправиться в неприятное для него посольство; зато, меся ногами грязь по улице, он выветривал свою досаду горькими жалобами и не щадил своего пана в следующей речи, которая расстановками у "его вырывалась:

— Правду говорит пословица: "Скачи, враже, як пан каже!.." Хорошо ему сидеть в теплой и светлой комнате да пить свою терновку с гостями: сам бы дошел, вместо меня а такую погоду, в такую ночь... и куда еще? О мать пресвятая богородица!.. А!.. кто тут? кто шумит? кто шепчет?.. Нет, кажется: это в панском саду блеклые листья шелестят под дождем... Я не трус и за себя постою; с живым управлюсь; только мертвец или оборотень — не свой брат!.. А уж что будет, то будет! у меня на всякий случай есть оборона: на мертвеца крест, а на живого — дубина... Подумаешь, подумаешь: для чего я сам не пан! Ел бы сало, сколько душе угодно, накопил бы полные сундуки денег и спал бы на печи, а для потехи заставил бы пана Гриценка прыгать через эту дубину или послал бы его в глухую ночь сзывать всех слепцов и бандуристов из околотка... Чтоб ему так легко икалось, как мне легко по его причудам тащиться здесь по грязи и шарить ощупью дорогу... Ни звездочки на небе, ни света по хатам: все улеглись... вот самая лучшая пора бродить по улицам! добрый человек теперь и собаки

не выгонит... Бог тебе судья, пан Гриценко!.. Скачи, враже, як пан каже... Ай!..

Страх оковал ноги бедного Стецька, и на этот раз его страх был не пустой: сильный удар по плечу невидимой впотьмах руки зазвенел у него в ушах, как неожиданный удар грома, и рассыпался по всем его составам смертным холодом.

— Здорово, товарищ! — проговорил в то же время кто-то твердым голосом, который показывал, что говоривший не боится дубины и не бегаёт от креста,

— Здорово, коли надобно!.. Кто ты: мертвец, оборотень или... — спросил Стецько дрожащим, перерывчатым голосом; последнее слово замерло у него в гортани.

— Узнаешь, когда со мною пройдешься, — с смехом отвечал неизвестный. — Я слышал, что пан Гриценко не слишком милосердо с тобою поступает: в эту ночь послать по своим причудам такого славного парня... Не знаю, на твоём месте я отшутил бы ему шутку так, что он бы не скоро опомнился.

— Где мне с ним сладить? он мой пан! Плетью обуха не перебьешь...

— Перебьешь, коли сумеешь: не в том сила, что он толст и крепок, а в том, чтобы знать сноровку, где и как ударить по обуху.

— Да, да! ударить невпопад — так плеть и отхлыснет по твоей же спине.

— Простак! если волка бояться, так и в лес не ходить. Пожил бы с мое, побродил бы, как я, но свету — то бы узнал, что и не такие обухи тонким ремешком перетирают... Послушай, я тебя научу на камне муку добывать.

— Рад слушать.

— Тебе больно служить пану Гриценку?

— И мне, и спине!

— Хотел бы от него подале?

— Да уж что будет, то будет, а хуже не бывать!

— Разумеется, если станет у тебя на то ума. Ты знаешь, дурак о себе не радеет, а умный человек всегда что-нибудь подготовит про запас.

— Ведомо, так! да где же взять, коли нет? С сухого лесу листья не соберешь.

— Есть где взять, были бы руки. Слушай: пан Гриценко, отпустя гостей, ляжет в постелю с тяжелою головою и уснет, хоть стреляй над ухом; панянка, как и все молодые девушки ее лет, так же крепко уснет, а люди и пуще. Ты один не будешь спать. В эту пору, попозже полуночи, я стукну в дверь, что из саду; ты тотчас отвори. Не бось! худо ни с кем не будет; только мешки пана Гриценка станут полегче, а сундуки поглубже.

— Дело! по рукам.

В это время они подходили к оврагу.

— До встречи у дверей! — сказал неведомый. Стецько оглянулся — его уж не было.

— С нами сила крестная! — думал Стецько, крестясь. — Это, верно, наваждение; нет! не продам душу лукавому, кто б он ни был, человек, мертвец или сам нечистый дух! — С такими мыслями подошел он к дому бандуриста. Слепец Нестеряк уже спал. Услыша стук в окно, он

пробудился, отдернул форточку и, на спрос узнавши о причине такого позднего посещения, разбудил семилетнюю девочку, свою внуку и вожатую.

— Олеся, сердце! вставай и вздуй лучину, да подай мне поновее свиту и чоботы. Пан хочет — не отговариваться стать я панских ласк и денег не чуждаюсь.

Послушная малютка, потягиваясь, исполнила приказ, снарядила старика, оделась сама, подала ему бандуру и по привычке повела его за руку к панскому дому, оставя ветхую свою хату на стражу бедности.

Веселая пирушка в доме пана Гриценка была на самом разгулье. Старик бандурист был встречен ласковым приветом: пан погладил его по седой голове и, велел поднести ему чарку водки, сказал:

— Где ты пропадал, старик? что так долго не казался мне на глаза?

— Виноват, добродей! я вчера только притащился домой с королевцевкой ярмарки, где пробыл целую неделю.

— Что же ты узнал там нового? — спросили вдруг несколько голосов.

— О, много, много! — отвечал слепец, слегка покачивая головою. — Там был и неожиданный гость, гайдамак. Он словно как из воды вынырнул: всполошил всю ярмарку, заставил о себе трубить всех, от мала до велика, и после вдруг исчез невесть куда.

Все гости приступили с расспросами к бандуристу, и он пересказал им народные басни о Гаркуше почти так же, как и толстый подкоморий. "Все это так вбилось мне в голову, — прибавил слепой певец, — что я, идучи с ярмарки, дорогою беспрестанно твердил: гайдамак! гайдамак! И чтобы как-нибудь разделаться с этим страшным человеком, которого имя ни на миг меня не покидало и нагнало тоску маленькой проводнице моей, внучке, — я сложил про него песенку. Если угодно честной компании, я спою...

— Спой, дружок, спой! — закричали ему гости со всех сторон. Нестеряк взял бандуру, закинул себе около шеи прикрепленную к ней алую ленту, пробежал пальцами по звонким струнам, потом заиграл и запел следующую песню:

Кто полуночной порою

Через лес и буерак,

С свистом, гарканьем, грозюю

Мчится в поле? — Гайдамак!

Он как коршун налетает,

От него спасенья нет!

Черный вихорь заметаает

Гайдамака страшный след

Кто один в селеньях бродит

И, как злобный волколак

Старым, малым страх наводит?

Кто сей знахарь? — Гайдамак!
Тронет он — замки валяются,
Отмыкаясь без ключей,
И червонцы шевелятся
В сундуках у богачей
Кто так зорко приглядает
За проказами гуляк,
В душу к ним змеей вползает?
Кто сей демон? — Гайдамак!
Враг он и душе и телу
Буйных, молодых повес
Научает злomu делу
И с собой уводит в лес

Еще старый певец не кончил своей песни, как вдруг послышался необыкновенный шум у дверей дома. Все гости вздрогнули; хозяин, по невольному движению, бросился к дверям; слепец Нестеряк, оставя свою бандуру на коленях, опустил руки и как будто бы силился взглянуть. Одна Прися, подняв голову, весело обвела взглядом все собрание: было ли то предчувствие нежданной радости, или беглая мысль, мигом отвлекшая ее от грустных дум, этого никто от нее не узнал, потому что никто не спрашивал. И до того ли было гостям? Все они с каким-то робким ожиданием смотрели на двери и оставались как прикованные на своих местах.

Глава II

Чи се ж тая криниченька що голуб купався?

Чи се ж тая дівчинонька що я женихався? Малороссийская песня

Спустя минуту вошел человек средних лет, в богатом польском наряде. На нем была бекешь из зеленой парчи, с большими золотыми цветами и бобровою опушкою; она состегивалась накрест золотыми снурками, по краям коих висели крупные золотые кисти, и сверх того стянута была персидским кушаком. С одной стороны к кушаку прикреплена была золотою цепочкою кривая турецкая сабля в дорогой оправе; а с другой — заткнут был турецкий же кинжал с серебряною рукояткою и ножнами, на которых сверкали драгоценные камни. Незнакомец, войдя в комнату, вежливо поклонился всему собранию; с меткостью человека,

живущего в лучших обществах, отыскал он хозяина дома, сказал ему на польском языке приветствие и просил ночлега и гостеприимства, объясняя, что сбился с большой дороги и в такую пору не мог ехать далее. Пан Гриценко, разумея немного по-польски, отвечал ему как умел приглашением остаться в его доме до будущего утра, и если не соскучится, то пробыть у него и весь следующий день, чтоб отдохнуть и оправиться от такой трудной дороги.

Тут только гости, опомнившиеся от первого впечатления, заметили, что вслед за поляком вошел в комнату молодой гусарский офицер. Прися прежде всех его увидела: она вздрогнула, ахнула... Это был Демьян Кветчинский. Поляк, оборотившись, взял его за руку и представил хозяину дома как своего спутника. По пословице: хоть не рад, да готов, пан Гриценко повторил свое приглашение и Кветчинскому, боясь отказом нарушить обязанность гостеприимства, весьма свято в Малороссии уважавшегося, и подать о себе на первых порах дурное мнение польскому пану.

Когда все уселись, слуги польского пана, или, как он говорил, его шляхтичи, начали вносить дорожные его вещи. Первый из них поставил на стол перед своим господином его шкатулку, без которой знатный и богатый поляк никогда почти не делает шага из дому. Второй внес походное его ружье и пистолеты в бархатных футлярах. "Это, — молвил незнакомый гость, — я взял с собою для того, что здесь, сказывают, дороги не совсем спокойны. Я слышал, что в вашем краю разгуливают шайки бродяг и очень немилостиво обходятся с проезжими, а особливо с моими земляками, зная, что с нами всегда бывает порядочный запас дукатов. Для того же я взял сверх обыкновенных моих проводников несколько человек лишних. По незнакомым дорогам не худо ездить с хорошею охраною". И в самом деле, любопытные гости пана Гриценка насчитали всей прислуги поляка человек до двенадцати, входивших то с разными его вещами, то для получения его приказаний. Все они одеты были в одинакое, весьма щеголеватое платье, с золотыми позументами, у каждого была за поясом сабля и пара пистолетов; большая часть из них, как видно было, составляла конную стражу своего господина.

Не прошло полчаса, как уже все гости были, так сказать, околдованы обходительностию и ловкостию польского пана, занимательностию его разговоров и приятностию поступков. С мужчинами был он вежлив и говорлив, с женщинами услужлив и вкрадчив. Знав, что не многие из собеседников его разумели по-польски, старался он говорить по-малороссийски, ломал довольно забавным образом наречие туземцев, и сам первый тому смеялся. Ничем столь легко не приобретешь доброго расположения малороссиян, как непринужденною веселостию и шутливостию; казалось, польский пан обладал в высшей степени сими качествами приятного собеседника. Около него составился кружок; всякий с удовольствием его слушал, расспрашивал и смеялся от души остроумным его замечаниям насчет жизни знатных богачей в Польше и в Москве, откуда, по словам польского пана, он теперь ехал, быв посылай с какими-то важными поручениями.

Между тем как хозяин и все гости были заняты слушаньем рассказов поляка, Кветчинский нашел удобный случай сесть подле Присы, повторить ей свои уверения в вечной любви и выслушать такие же от нее. После сей взаимной передачи нежных чувствований Прися с веселым видом спросила у Демьяна: где отыскал он этого чудака-незнакомца, который, являсь впервые в их обществе, как будто бы сто лет был знаком со всеми?

— Я нашел его, — отвечал Кветчинский, — назад тому часа два, в постоялом доме, что стоит там, под леском, в четырех верстах от здешнего селения. Он остановился было там ночевать, когда я заехал в ту же корчму, чтоб обогреться и дать отдых лошадям, которых измучил по худой дороге, спеша к отцу... Признаюсь тебе, милая, хоть я и решился было никогда сюда не возвращаться: но один взгляд на тебя, один слух о тебе вызвали бы меня...

— С того света, — перервала Прися с лукавою улыбкою. — Не о том теперь речь: ты хотел мне рассказать, как познакомился с польским паном. Продолжай же.

— Изволь, милая, если тебе приятнее слышать о проказах польского чудака, нежели о муках моего сердца, — отвечал Демьян отчасти укорительным голосом. — Вошедши в корчму, я увидел толпу прислужников польского пана, которые суетились около него. Сам он лежал в переднем углу на лавке, на которой разостлан был персидский ковер с сафьянными подушками; перед ним, на столе, поставлены были неразлучная его шкатулка, сабля, кинжал, пистолеты и бутылка какого-то заморского вина. Когда я вступил в комнату, он торопливо вскочил с своего места, быстро посмотрел мне в глаза, потом поклонился и спросил по-польски: конечно, я проезжий? Я отвечал, что он не ошибся. Тут он просил меня сесть подле него, потчевал своим вином, расспрашивал, куда и зачем еду... Смейся или нет, моя милая, только я от полноты души рассказал ему все: и нашу любовь, и наши горести; не утаил даже и того, что нынче день твоих именин. Вообрази мое удивление, когда чудак, вскрикнув: "Я вам помогу, и помогу сей же час", — велел своим людям в минуту собраться в дорогу, надеть лучшую их однорядку и, одевшись сам, посадил меня с собою в бричку, чтобы, как он шутя говорил, показывать дорогу... И вот мы здесь! Не знаю, что из этого будет, не смею еще надеяться ничего хорошего; но сердце мое замирает в каком-то тягостном ожидании.

Прися вздохнула. В эту минуту раздался громкий, единомушный хохот всего собрания. Отчасти из любопытства, отчасти из опасения, чтоб не заметили долгого их разговора глаз на глаз, вдали от прочего общества, — Прися встала и подошла к гостям. Демьян пошел вслед за нею <...>

Таким образом, в веселых рассказах и шутках, неприметно пролетел вечер. Кукушка в стенных часах прокричала одиннадцать часов; гости вдруг опомнились, стали собираться к отъезду, но хозяин снова начал унимать их закусить, что бог послал. Они снова начали отговариваться позднею порою, волками и гайдамаками. Тут к хозяину пристал и поляк, упрашивал их подарить его остатком вечера и отведать за ужином его венгерского вина; к тому прибавил он, что всем им даст своих шляхтичей проводниками. На замечание подкомория, что шляхтичи и без того устали и намучились по такой дурной дороге, отвечал он, что эти молодцы привыкли к поездкам и что они готовы ехать во всякую пору по приказу своего пана, не зная ни сна, ни усталости, как черкесы.

За ужином польский пан велел подать свой запас венгерского и серебряные чарки. Сам он подносил вино своим собеседникам, чокался с каждым из них и пил за их здоровье. Наконец, когда все уже были очень навеселе, вдруг, по его знаку, подали две серебряные стопы одинаковой меры, с чернью и позолотою; поляк подошел к пану Гриценку, сказал ему, что хочет пить с ним по-польски, на братство; стал на колени и пригласил хозяина сделать то же. Тут он громко сказал: "Пан Гриценко! здоровье твое, мое, любезной именинницы, твоей дочери, и молодого гусара, моего товарища. Видишь ли, я пью от души на братство: не забываю и тех, которые милы тебе и мне. Выпьем же, как у нас в Польше: все до дна, не переводя духа". Пан Гриценко, у которого прежняя попойка уже затмила рассудок, принялся пить без всякого возражения; однако же не мог выпить всего за одним духом: останавливался, пыхтел, но не хотел отстать от своего товарища. У польского пана вино свободно лилось в горло; он выпил несколькими минутами прежде хозяина, стукнул стопою о серебряный поднос и закричал: "Виват!" Слепец Нестеряк, забытый с самого появления поляка, отозвался в эту минуту, громко ударя тушь по всем струнам своей бандуры. Польский пан подошел к нему, налил венгерского и, бросив в чарку червонец, подал ему и сказал: "На, пей, старик!" Слепой бандурист выпил вино, достал со дна чарки червонец, ощупал его и молчаливо поклонился щедрому дарителю. Вслед за тем он встал, оперся на плечо своей внучки и пошел домой, покачивая седою свою голову.

Головы гостей сильно кружились, когда они встали из-за стола. Прися просила Кветчинского, который один из всей мужской компании уцелел от хмеля, позаботиться об отъезде гостей. Польский пан, вслушавшись в ее речь, созвал своих служителей, велел осьмерым из них быть в минуту готовыми и провожать гостей, настрого подтвердив, что они будут ему

отвечать за целостность и безопасность как самих господ, так и всего, что при них находилось. На него, как видно было, вино не сильно действовало, по привычке ли к таким попойкам, или потому, что он был крепок от природы. Он распоряжал всем и отдавал приказания, как человек с совершенно свежей головой. Зато хозяин дома совсем обомлел от последнего потчеванья: язык у него почти не ворочался, ноги подкашивались. По отъезде гостей он уже насилу стоял на ногах. Прися кликала Стецька, чтоб он отвел своего господина в его комнату; но Стецько не откликнулся. Один из людей польского пана сказал ей, что камердинер отца ее спал в людской избе, "от того, — прибавил он, — что, потчужа прислугу его ясновельможности, не забывал и себя". Кое-как, с помощью Демьяна, Прися отвела своего отца в его комнату, где Кветчинский и денщик его раздели пана Гриценка и уложили его в постелью. Прися пожелала спокойной ночи польскому гостю, то же желание, сопровождаемое едва заметным вздохом, сказала она Демьяну и ушла в свою комнату. Поляк и Кветчинский остались вдвоем и скоро легли спать. Так ли они крепко уснули, как пан Гриценко, или вовсе не спали, как молодая Прися в эту ночь, — не станем исследовать; а посмотрим, что случилось с Стецьком.

Он крепко держал в уме и на душе, чтобы пересказать панянке, которую любил за ее доброту и ласковость, встречу свою с незнакомцем у оврага; но при гостях не имел свободной для того минуты. Приезд польского пана развлек его внимание; к тому ж он уверился, что при таком большом числе вооруженных людей гайдамаки не посмеют напасть на дом пана Гриценка. На беду еще, его заставили потчевать слугителей поляка, которые все были большие весельчаки и беззаботные головы пили сами за его здоровье и его заставляли пить за свое, поодиночке.

— Вы славные молодцы, — сказал Стецько, когда у него порядочно зашумело в голове, — и перед вами нечего таиться; да вы же в этом деле можете нам и сослужить службу.

— А что такое? — спросили почти в один голос все поляки.

— Да вот что. К нам назывался в нынешнюю ночь еще один гость: бог весть, кто он таков, а кажется, гайдамак...

— Что же ты нам присоветуешь делать, когда он явится? — был новый вопрос.

— Ни больше, ни меньше, как заступиться за нас, т. е. за меня, пана и панянку: стрелять из ваших пистолетов, колоть, рубить, крошить в мелкие куски злодеев. Я не хочу, чтоб они над нами насмеялись.

— Дельно! небось, не выдадим, — сказал хвастливо один из поляков. — Посмотрел бы я, как-то ваши малороссийские гайдамаки посмели бы насунуться на мою польскую саблю? подавай их сюда!.. Выпьем же на отвагу.

И чарка снова пошла кругом, и голова Стецькова еще более отуманела.

— Да как ты сведал, что гайдамаки хотят напасть на здешний дом? спросил у Стецька один поляк.

— Я встретил одного из них нынешним вечером, и он сам меня подговаривал отпереть им двери, — отвечал Стецько.

— А ты и не согласился?

— Я было сказал надвое; да после одумался. Пуще всего мне стало жаль панянки.

— Разве она так добра?

— Ох! добра, как мать родная! от нее-то и ласковое слово услышишь, от нее-то и лишнюю чарку, и лишний кусок получишь. Когда пан наш на кого разгневается, она упрашивает да

умоляет его до тех пор, пока он умиосердится. И бедным всем она помогает, своим и чужим. Пошли ей, боже, здоровье и счастье, да хорошего жениха!

— Выпьем же за ее здоровье! — воскликнули поляки и снова принялись пить и поить Стецька.

Чарка за чаркой — под конец он упал без чувства на лавку и таким образом проспал до утра, забыв и гайдамаков и добрую свою панянку.

Глава III

Топчи вороги

Під ноги;

Щоб наші підківки

Бряжчали,

Щоб наші вороги

Мовчали! Малороссийская свадебная песня

На другой день пан Гриценко проснулся гораздо позже обыкновенного и с тяжелою головою. Польский пан и Кветчинский давно уже были на ногах, а Прися, как ранняя птичка, порхала то туда, то сюда, хлопотала по домашнему хозяйству и заботилась об завтраке. В ней заметна была необыкновенная живость, пробужденная близостью любимого человека и надеждою на старания нового его знакомца.

Стецько также проспал долее, чем в другие дни, и проснулся не без страха. Приятели его, поляки, или шляхтичи, как он их величал, рассеяли его опасения, сказав, что паи его еще сам в постеле, и советовали ему опохмелиться. За чаркою вина они снова завели с ним разговор о гайдамаке, но уже в другом виде: они смеялись боязливым грезам бедного Стецька, шутили над его трусостью и заверяли его, что кто-нибудь из знакомых, подслушав его разговор с самим собою, нарочно впотьмах напугал его. Стецько и сам наконец остановился на этой мысли, стыдился напрасного своего страха, сердился, что не проучил порядком ночного насмешника, и твердо решил не сказывать о том никому в доме, чтоб не узнали об его трусости и не вздумали часто его так дурачить.

Когда пан Гриценко пришел к гостям своим, то после обыкновенных приветствий и расспросов о здоровье польский пан сказал ему, что хочет говорить с ним наедине. Кветчинский под предлогом, чтобы похлопотать об отъезде, пошел отыскивать Присю, которая еще не кончила домашних своих забот или, может быть, по чувству приличия не хотела так рано казаться гостям.

— Пан Гриценко! — сказал поляк, когда они остались вдвоем. — Я приехал к тебе сватом. Знаю, что ты удивишься этому и считаешь меня за такого чудака, который любит мешаться в чужие дела; но выслушай. Я богат и бездетен, ближних родственников у меня нет, а дальние должны быть довольны и тем, что я им оставляю. Я полюбил будущего твоего зятя: он лучше, умнее и благоднее всех молодых людей, которых мне случалось встречать из моих земляков и из ваших... В этой шкатулке лежит у меня три тысячи червонных и почти на столько же дорогих вещей: согласишься ли ты отдать дочь свою за Кветчинского, когда я дам

ему все это свадебным подарком?.. Смотри...

Тут он раскрыл шкатулку, на которую пан Гриценко и гости его так умильно поглядывали накануне. Она была по самую крышку набита полновесными червонцами. Поляк тронул пружинку, и потайной ящик с разными драгоценными вещицами явился глазам удивленного Гриценка.

— Говори же: согласен ли ты на мое предложение? — снова спросил поляк.

Удивление пана Гриценка прервалось вздохом, тяжело вырвавшимся из груди его, как у человека, которого вдруг пробудили от приятного, обольстительного сна. Поляк снова повторил свой вопрос.

— Быть так! пусть дочь моя будет женою Кветчинского, — сказал Гриценко, собравшись с духом. — Он славный молодец, и я всегда его любил: одна бедность была ему помехою жениться на моей Присе: теперь нет и этой помехи, по милости ясновельможного моего гостя. Что до его рода, то он сам выйдет в люди своим умом-разумом, да с божеским благословением и царским жалованьем.

— Так по рукам, и завтра же свадьба, — сказал поляк, подставив свою ладонь.

— Это слишком скоро: мы ни с чем еще не готовы...

— Не твоя забота, пан Гриценко! у меня все мигом будет готово. Мне некогда ждать, время не терпит; я и так уже просрочил, а я непременно хочу погулять на свадьбе у доброго моего приятеля Кветчинского. Сейчас же разошлю моих молодцов сзывать вчерашних гостей и пригласить старика Кветчинского на нынешний вечер: сегодня у нас непременно должен быть сговор. Другие из моих шляхтичей отправятся закупать все нужное к свадьбе, и завтра же наши жених с невестой будут обвенчаны... Эй, люди!

На голос поляка сбежались его прислужники. Он с удивительною поспешностью и точностью роздал им приказания и разослал их в разные стороны. Через минуту они были уже на конях и выехали со двора. При нем, для услуг, осталось только четверо.

— Ин по рукам: я на все согласен, — сказал Гриценко, до сих пор в молчаливом раздумье смотревший на все, что вокруг него происходило.

— Давно бы так! — подхватил польский пан и хлопнул в открытую ладонь Гриценка так сильно, что он от боли поморщился и замахал рукою. Поляк улыбнулся. — Это остаток старой моей силы, — сказал он с видом самохвальства, — в прежние годы я разгибал подковы и скручивал узлом железные кочерги без дальних усилий. Теперь уже не то, все не по-старому; нет уже таких молодцов-силачей, как бывало прежде. И не только в силе — в самых понятиях нынешняя наша молодежь крайне изменилась. Скажу и о твоём будущем зяте: у него престранный образ мыслей. Например, он никак не принял бы сам от меня этого подарка из гордости; и я прошу тебя, пан Гриценко, не прежде отдать ему шкатулку, как на другой день свадьбы. Теперь покамест унеси ее и спрячь у себя.

— Правда, правда! — сказал Гриценко и, услышав шум в передней светлице, торопливо схватил шкатулку, притаил ее у себя под мышкою и почти припрыгивая унес в свою комнату.

В эту минуту вошли Кветчинский и Прися. Польский пан подошел к ним, поздравил Присю с добрым утром и с женихом, а Кветчинского с невестой. Оба они не верили своему счастью и принимали слова поляка за дурную шутку, пока возвратившийся Гриценко не уверил их в том совершенно. Не станем описывать их радости: все такие описания скучны, ибо радость любит выражаться не словами, а улыбками, взглядами и тому подобными знаками, которых никакое красноречие не сильно вполне передать.

К вечеру начали съезжаться гости: отец Кветчинского явился из первых, дивясь неожиданному приглашению богатого и спесивого соседа. Уже по приезде узнал он, зачем его звали, и радовался почти не меньше своего сына. Началось сватовство обыкновенным малороссийским обрядом: польский пан, игравший роль старшего свата, поставил на стол хлеб и соль и просил ласки хозяина, чтоб он принял от его руки жениха своей дочери; и когда пан Гриценко подтвердил свое согласие, тогда Прися поднесла сватам и отцу своего жениха шелковые ручники на серебряном подносе. Остальное шло своим чередом: гости пили за здоровье жениха и невесты, отцов их, сватов и проч., гости пели свадебные песни; польский пан был шутив и любезен до крайности, говорил даже малороссийские поговорки, приличные случаю. Казалось, что он учился тамошнему наречию не по дням, а по часам, как славные богатыри росли в старинных русских сказках. Поздно разошлись гости по квартирам, которые отведены им были в домах зажиточных обывателей селения.

На другой день, рано поутру, дружки одели невесту к венцу. В девять часов свадебный поезд был уже совсем снаряжен: жених с сватом и дружкой поехали вперед верхами, чтобы у церковных дверей принять невесту, которая с свахой, дружками и светилкою везены были в старинном огромном рыдване, четверкою коней и вершинками. Сбруя на конях и рукава у вершников украшены были большими бантами розовых лент. От венца поезд возвратился тем же самым порядком в дом пана Гриценка, где уже приготовлен был, в ожидании обеда, сытный завтрак. Начались поздравления и потчеванья, молодой и молодая стали с поклонами подносить гостям разные цветом и вкусом водки. Каждый из почетнейших гостей, выпив, целовал молодых и клал на поднос какой-нибудь подарок. Польский пан, или сват женихов, положил полный кошелек червонцев. Таким образом время продлилось до обеда, за которым пирушка разгуливалась более и более. Гостям показалось странно, что не было музыки: некому было играть туш, когда пили здоровье молодых. Пан Гриценко уже дважды посылал за слепым бандуристом, но он все не являлся. Стецько снова был отправлен привести или притащить его, если он не пойдет доброю волею.

В конце стола венгерское польского пана опять полилось в чары и в уста лакомых гостей. Сам поляк был еще веселее, разговорчивее и шутивее, нежели прежде. Он часто пил за здоровье молодых, приговаривая: "Горько!" в заставляя их целоваться; напевал малороссийские и польские песни, точил балы и был в полном смысле душою пирушки. Опять он велел принести большую свою серебряную стопу и пил из нее на коленях с паном Гриценком и старым Кветчинским.

С шумом и суматохою кончился обед. Начались громкие, крикливые разговоры; женщины уселись в кружок и запели веселые малороссийские песни; мужчины собрались около них, слушали и подтягивали. Между тем молодые, посаженные на почетном месте, почти не замечали того, что вокруг них происходило: они, так сказать, были погружены в настоящее и будущее свое благополучие. В таких приятных и невинных занятиях пролетело несколько часов. Тут только некоторые из гостей и хозяин дома заметили, что между ними кого-то недоставало, и сквозь туман винных паров наконец досмотрелись, что отлучившийся гость был веселый и добрый польский пан, сильно поколебавший, врожденное в малороссиянах предубеждение насчет поляков. Начали его искать повсюду — его нигде не было; люди его, прислуживавшие за столом, также все скрылись. Некоторые из самых любопытных гостей побежали осведомляться на дворе: поселяне, собравшиеся смотреть на свадьбу, сказали им, что несколько часов тому назад бричка польского пана выехала за ворота, конные служители его также поодиночке выбрались, а спустя немного сам он тихо вышел на улицу, сел в бричку и ускакал, окруженный своими проводниками.

И гости, и хозяин дивились такому странному поступку польского пана; отец Приси дивился также и тому, что ни слепой бандурист, ни Стецько не являлись во весь вечер. На многолюдных, шумных пирушках обыкновенно такие случаи на миг мелькают в понятиях собеседников и быстро сменяются другими впечатлениями. Какой-то залетный музыкант с скрипкою, песни, пляски и продолжительная попойка скоро вытеснили из согретых хмелем

голов и польского пана с его забавными шутками, и слепца Нестеряка с его бандурой, и Стецька с его глупым взглядом и разинутым ртом.

Последний из них явился, однако ж, на другом день поутру. Он бросился в ноги своему пану, просил у него прощения за вчерашнюю свою отлучку и сказал, что слепой Нестеряк решительно отказался идти на свадьбу с своею бандурой. В то же время Стецько подал господину своему запечатанное письмо.

— От кого принял ты это письмо? — спросил пан Гриценко, еще не разламывая печати.

— От кого?.. — молвил Стецько, повторяя вопрос со всею медлительностию малороссиянина.
— Да от нашего свата, польского пана...

— Где и как, — нетерпеливо подхватил Гриценко,

— Где?.., в корчме, за селением, на большой дороге. Как?.., я и сам порядком не помню; дайте надуматься. А! теперь кажется так: извольте слушать. Шедши домой от Нестеряковой хаты, я встретился с одним из шляхтичей, который дружески потрепал меня по плечу и сказал: "Прощай, товарищ! пан наш уехал, и я спешу вслед за ним. Да не можешь ли ты, прибавил он, — сослужить мне службу, показать мне дорогу а корчму, что за селением, по С...цкому шляху? Я тебе буду очень благодарен, и там мы расстанемся, как добрые приятели, за чаркою вина". — Виноват, грешный человек: я взялся его провожать, и там мы нашли польского пана со всеми его проводниками. Пан обошелся се мною ласково, потчевал меня сам из своих рук, дал мне на водку и велел подождать, пока напишет к вам письмо. В другой светлице шляхтичи окружили меня и пили со мною на расставанье до тех пор, что уж я и не помню, как заснул. Когда же проснулся, то уж ни пана, ни людей его не было, а корчмарь подал мне это письмо и крепко-накрепко наказал мне доставить его к вам, говоря, что если не доставлю, то польский пан отыщет меня хоть под землю и тогда бог весть, что со мною будет. Я испугался и своей отлучки из дому, и вашего гнева, и угрозы польского пана, опрометью бросился из корчмы и не помню, как меня ноги сюда донесли.

Пан Гриценко, выслушав этот рассказ, распечатал письмо. Судите ж об его удивлении, когда он прочел в нем следующее.

"Пан Гриценко! я хотел ограбить тебя, и уже все было к тому готово. Чтобы собрать моих удальцов в одно место, передел я их в однорядку, и сам оделся поляком, потому что не имею в здешних местах надежного притина. В этом виде велел я самым лихим ребятам из моей вольницы съезжаться в одной корчме, где сам их дожидался. На твое счастье, приехал туда же нынешний зять твой, Кветчинский. Я хотел было отправить незваного гостя в нежданное место; но как я никогда не проливаю крови, то вздумал вывести хорошими средствами, не будет ли он нам помехой? Слово за слово, я вытянул из него всю подноготную: и любовь его к твоей дочери, и твой отказ, и его горе. Я от природы имею доброе сердце: мне стало жаль бедного Кветчинского: тотчас я переменял намерения на твой счет и решил помочь ему. Хорошо ли я в этом успел, сам ты знаешь. Прощай: люби дочь и зятя, надели их, как долг велит доброму отцу, береги мою шкатулку — она тебе пригодится, и будь милостив к своим служителям. Они такие же люди, как и ты. Если все это исполнишь по моему желанию, то можешь быть уверен, что никогда не встретишься с Гаркушею".

Лихорадочная дрожь проняла пана Гриценка во время этого чтения; ему казалось, что гайдамак все еще перед ним; робко взглянул он и увидел подле себя не Гаркушу, а слепого бандуриста.

— Я пришел поздравить вас, добродей, и пожелать счастья вашим молодым. Пусть их живут, как венки вьют! Вчерась же, винюсь, не пришел к вам на свадьбу: тут был недобрый человек, и я ни за что бы не хотел с ним быть под одною кровлею.

— Разве ты по чему-либо узнал гайдамака? — спросил пан Гриценко, пришедши несколько в себя.

— Ну, так! — подхватил слепой музыкант. — Я чувствовал, что здесь что-то недаром. Порядочный человек не стал бы бросать своих червонцев первому встречному. Сейчас же иду и отдам его дар на богадельню. Не хочу себе даров от нечистых рук.

— А я так приберегу свои десять серебряных круглевиков про черный день, — думал про себя Стецько, стоя у двери. — Нужды нет, что пришли ко мне из нечистых рук: на это есть мел и тертый кирпич.

Что думал пан Гриценко о своей шкатулке, мы не знаем; только он не отдал ее на богадельню. Может быть, от страха, чтоб не прогневить Гаркушу презрением к его подарку; или, может быть, хотел он возвратить ему шкатулку при первой встрече. Как бы то ни было, но он до самой смерти не упоминал о шкатулке ни зятю, ни дочери, и она перешла к ним как наследство отцовское.

Глава XIX

Чи ти гордий, чи ти пишний

Чи гордо несешся? Малороссийская песня

В жаркий июльский полдень, по дороге от Золочена к Сумам, медленно тянулись несколько повозок. Впереди ехал рыдван, или огромная коляска с отдергивающеюся кожей вместо дверец, с маленькими окошками, вставленными в позолоченные рамы, с вычурными украшениями из прорезной жести, положенной на алую фольгу, по углам, спереди и сзади кузова. Четвероугольный сей кузов поставлен был на низком ходу ярко-красного цвета Тяжелую эту колымагу тащила шестерня раскормленных лошадей, из которых четыре были впряжены рядом у дышла, а две впереди. Кучер и фореитор, или вершник, оба в белых свитах домашнего сукна, лениво и неловко правили эту шестерню. Рядом с кучером, на низких и просторных козлах, сидел небольшой, плотный человек, с предлинными угами и в странном наряде, на нем был разноцветный жупан, у которого одна пола была синяя, другая светло-зеленая, стан красный, а рукава желтые; шапка у него на голове была также особого покроя околыш ее сшит был до половины из черного и до половины из белого бараньего смушка, а верх, сделанный колпаком наподобие венгерского гусарского кивера, пестрел теми же четырьмя цветами, которые видны были в его платье. Широкие штофные шаровары с большими узорами всех возможных красок и сафьянные чоботы, из коих один красный, а другой желтый, с высокими медными подковами, дополняли убранство этого чудака, который часто оглядывался в окошко коляски, говорил по несколько слов и возбуждал невольный, простодушный смех в неудалом кучере Два рослые хлопца, или лакея, в синих чекменях и казачьих шапках, стоя на большом сундуке, привинченном к запяткам коляски, и перегнувшись через кузов, скалили зубы вместе с кучером, а четыре проводника, ехавшие верхом по сторонам коляски, безвинно смеялись чужому смеху, хотя вовсе не слышали слов полосатого проказника. Между тем двое передовых, тихою ступью подвигаясь шагах в двадцати от передних лошадей, очищали дорогу, покрикивали на проезжих и дремали да покачивались в промежутках времени. Шесть больших повозок, или дорожных фур, тащились следом за коляской, на крестьянских лошадях, и нагружены были съестными припасами, погребцами с дорожною пропорцией водок и наливов, поваренною посудой, пуховиками, подушками, баулами, чемоданами, няньками, горничными девушками, поварами, босоногими

мальчиками и пр. и пр. Шествие замыкалось двумя псарями, которые вели на сворах целую стаю собак, покуривая табак из коротких трубок, переглядываясь и посмеиваясь с горничными.

Полы коляски были задернуты, окна подняты, несмотря на зной и духоту, и снаружи не видно было, кто там сидел; но встречавшиеся поселяне, видя такой пышный караван, почтительно сворачивали в сторону и, поравнявшись с коляской, робко снимали шляпы. Двое из них даже съехали с дороги на пашню, остановились, и, когда уже коляска и вся ее свита проехали мимо, тогда они вступили в разговор между собою.

— А что? — был лаконический вопрос первого.

— Э-ге! — отвечал другой обыкновенным малороссийским междометием, которое, не означая ничего в собственном смысле, выражает многое.

— Знаешь ли, Грицко, кого бес пронес мимо нас? — промолвил первый после минутного молчания.

— Кому ж быть, как не толстому пану? — отвечал второй. — Хотелось бы мне знать, куда его несет нелегкая?

— Куда! вестимо к нам, в степную его деревню, а ездил он по другим своим деревням и хуторам, объедать и опивать мужиков своих, брать с них волею и неволею на поклон, то деньгами, то хлебом, то медом, топтать их поля своими собаками и вытравливать их сады и огороды голодными своими хлопцами.

— Как бог еще терпит на свете такую пиявицу? Уж он ли всем не насолил, и своим и чужим! А сколько, ты думаешь, за ним всех душ?

— Сказывал мне Яким Вдовиченко, который служит у него в дворе писарем, что всего-навсе за ним, по разным уездам и поветам, больше семи тысяч душ; а своей — и не спрашивай!

— Больше семи тысяч! то-то, должно быть, денег-то, денег!

— Да говорят, одна кладовая с железными решетками, у которой денно и ночью стоит караул, насыпана медными от полу доверху; а с собою он возит бог весть сколько сундуков с серебром и шкатулок с червонцами.

— Правду говорит пословица: у богатого черт детей качает'. Да зачем же пан Просечинский возит с собою все лучшее свое добро?

— Видно боится, чтоб без него не ворвались в дом воры или не случился пожар. Этот пан Просечинский сущая притча: для других скуп, для себя тороват; людей своих морит голодом, а сам ест за семерых; гостям, особливо бедным панкам, подносит простую сивуху, а сам пьет третьепробную водку, настоенную и невесть какими снадобьями, да наливки и заморские вина, о которых и вспомнить, так слюнка течет.

— Богачи всегда скупы; уж так, видно, им на роду написано.

— В доме у пана Просечинского такая каторга, что и боже храни! Работою люди завалены так, что и за ухом некогда почесать, а чуть что не по нем заспался ли, загулялся ли кто из дворовых — так и дерут бедняка на конюшне. Там у пана пристроена особая каморка, а в той каморке припасены такие диковины, что и подумать страшно: и цепи, и кандалы, и дыбы, и разные плети; утро и вечер идет там расправа; мимо идешь, так дыбом волос становится.

— Избави бог от такого варвара! Да чего же смотрит гайдамак?.. Сказывают, что он проучивает злых панов, чуть только про которого прослышит худое.

— Видно, про этого он еще не слышал... Бог даст! — прибавил Грицко, заметив впервые нищего, который давно уже стоял перед ними и, казалось, ожидал только конца их разговора, чтобы попросить милостыни.

— Вот тебе, человек божий, — сказал товарищ Грицка, вынув из мешка большой кусок хлеба и подавая нищему, — вот все, чем могу с тобой поделиться. Видел ли ты: сейчас проехал по дороге богатый пан; он, верно, здесь недалеко остановится, вон там, под дубровой: паны всегда любят негу и для того в жаркое время прячутся под тенью. Авось-либо он тебя наделит побольше.

— Да, попытайся! — примолвил Грицко насмешливо. — Если не уськнет тебя собаками, так уж верно понесешь его милостыню на спине, а не за спиною.

— Нам бог велел терпеть все и с потом, горем и слезами добывать себе хлеб, — отвечал нищий, поклонился, прошептал молитву и побрел по дороге в ту сторону, куда уехала коляска. Крестьяне долго глядели вслед ему с каким-то полусонным любопытством. Вид этого нищего и в самом деле был замечателен: это был человек среднего роста, плотный телом, с рыжими, включенными волосами на голове и в бороде. Лицом он был довольно полон и с первого взгляда не казался ни больным, ни слабым; но желтые пятна на щеках, синета под глазами, правая нога, которою он хромал, левая рука, как будто бы вышибенная из плеча, и чахлый голос являли в нем полного калеку, каких весьма часто встречаешь по большим дорогам, в городах и местечках Малороссии. Потолковав еще несколько минут, Грицко и товарищ его снова поворотили на дорогу и погнали по ней лошадей своих, разлегшись на телегах с малороссийскою ленью.

Между тем коляска остановилась подле леса, в урочище, называемом Образ. Проезжие находят ныне на сем месте большую каменную часовню, в виде разрезанного конуса, довольно красивой архитектуры; но в тогдешнее время стояла здесь часовня деревянная, которой стены валялись от ветхости. Часовня сия возвышается над лесистым оврагом, в углублении коего находится колодец чистой, холодной ключевой воды, с бревенчатым срубом. Теперь по другую сторону от дороги здесь есть шинок, или постоянный дом для проезжающих; но тогда не было еще здесь никакого жилого строения. Пустынное сие место привлекает взоры путешественников своею дикою красотой, и редкий из них не останавливается здесь хотя на короткое время.

Прежде всего выгружена была одна из дорожных фур. Хлопцы и ездовые пана достали из нее палатку, или огромный шатер, натянули на древки и положили в нем целую кипу пуховиков и подушек, одни на других, так, что это составило нечто похожее на турецкий диван; все это прикрыли они большими шелковыми покрывалами, или попонами. Тогда полы коляски отдернулись на медных кольцах по железному пруту, и прежде всего выскочили из нее два молодые человека, или, как в Малороссии называют, паньчи, несовершеннолетние сыновья пана, два плотные юноши, от осьмнадцати до двадцати лет; за ними вышла сестра их, девица лет шестнадцати, не красавица, но имевшая с неправильными чертами очень милое лицо малороссийской панночки. Далее вышел мужчина лет тридцати, приятной наружности, стройный и крепко сложенный; наконец показался из коляски огромный человек, высокого роста и необыкновенной толстоты: это был сам пан Просечинский. Псари подставили ему крепкую скамейку с подушкой, а четверо слуг подавали ему руки; он ступил тяжелою ногою на землю, крикнул и, поддерживаемый хлопцами, потянулся к палатке; там разлегся он на пуховиках, покоя спину свою и голову на подостланных подушках. Прочие члены его семейства поместились около него, а у ног его стал полосатый человек, сидевший дорогою подле кучера.

— Рябко! — сказал толстый пан протяжно-томным голосом, как будто бы это был голос больного. — Нравится ли тебе это место?

— Как не нравится! — отвечал полосатый шут. — Если б этот овраг был мой, то я отдал бы его на аренду гайдамакам и собирал бы с него славный доход.

— Безбожник! разве ты захотел бы погубить свою душу, связавшись с душегубцами?

— И, дядько! не я был бы первый, не я последний. Да и за что про одних только бедных гайдамаков идет такая дурная слава? А наши судовые, чернильные пиявки, разве не душегубцы, когда у них виноватый прав, а правый виноват?

— Правда, правда твоя, Рябко! ты дурак, а судишь иногда, как путный человек.

— И твоя правда, дядько, да не совсем: у путного человека язык спутан, а у дурака развязан. Ты мне помешал говорить о гайдамаках и душегубцах. Слушай же и учись: а наши паны, которые сдирают по три шкуры с мужиков своих, то частыми поборами, то ременными нагайками, не...

— Подавись этим словом, собака! — взревел толстый пан, совершенно переменяв тон и голос. — Тебе ли судить о панах, негодный червяк?

— Вот ты и рассердился, дядько, — сказал шут весьма спокойно, как будто бы не боясь гнева своего пана, — и опять ты не дал мне договорить: речь не о тебе шла, а о других панах, которых я видал по белому свету.

— Ну, то-то же, — промолвил пан Просечинский, успокоясь, — иначе ты отведал бы, каковы арапники у моих псарей.

— У тех панков, что пануют над собаками? я и без того знаю: у них арапники панские; где надо брать добром, там они отнимают побоями... Да собакам собачья и честь! Иное дело, когда людей честят по-собачьи...

В это время вошел кашевар, или походный повар пана Просечинского, и спросил, что прикажет готовить к обеду.

— Почти что ничего! — промолвил толстый пан прежним своим протяжно-томным голосом, который старинные малороссийские паны полагали в числе приличии хорошего тона, особливо, когда говорили с своими подчиненными или с мелкопоместною шляхтой. — Я человек больной, — продолжал он после некоторой расстановки. — Много есть не могу; притом же нынче постный день... Что у нас есть в запасе?

— Есть десятков пять крупных окуней да три сотни раков. Я закупил это для панского стола в последней деревне, которою мы проезжали, и сложил в мешки с свежеею травою.

— Три сотни! много, очень много: я человек больной и много есть не могу... Сварить половину; остальные к ужину; а из рыбы изготовить уху; рыбы не к чему оставлять, еще найдем где купить... Ну!

— Есть свежепросольная осетрина, пуда два.

— Пуда два! много, очень много: я человек больной, и день нынче постный... сварить фунтов двадцать и подать с хреном. Ну!

— Есть сушеные караси.

— Сварить из них кулеш: это самое здоровое кушанье для больного. Дальше!

— Есть свежая белужина, фунтов тридцать.

— Фунтов тридцать! много, очень много... Да время теперь жаркое, свежая рыба может испортиться. Разрезать пополам; из одного куса сварить похлебку, прибавить в нее раковых шеек, а из другого, пополам с осетриной, солянку на сковороде. Ну!

— Есть у нас десятка два больших карпов...

— Изжарить их. Ну!

— Есть планчита и целый короб сладких пирожков.

— Подать планчиту и положить на блюдо пирожков... так, не больше двадцати; прибавить к этому гренок с поливкой из вишен, сваренных на меду... Ну!

— Есть балык, семга, сельди, кавьяр...

— Довольно, довольно! Подать всего этого к водке, перед обедом, по одной тарелке; слышишь ли? не больше! — Повар ушел.

— Дорога меня измучила, — продолжал пан Просечинский, — видите ли, дети, как я слаб, болен, как похудел? Вот мой шелковый халат теперь мне широк, сидит мешком... Не правда ли?

— Правда, правда, дядько! — подхватил шут. — И то правда, что ты велел его сшить взапас, думая, что тебе за пост и молитву прибавит бог дородства.

Толстый пан сердито посмотрел на шута, и тот пустился бегом из палатки. Скоро, однако ж, возвратился он, неся в руках свою бандуру и наигрывая на ней казачка.

— Не хочешь ли, дядько, промяться со мной перед обедом? это здорово: больше съешь и крепче уснешь.

— Пляши сам, вражий сын! — отвечал Просечинский.

— Изволь, я не прочь; только ты мне подари новые чоботы, когда я эти истопчу для твоей потехи. — И шут заиграл громче и пустился плясать с смешными телодвижениями и кривляньями, припевая:

По дорозі жук, жук, по дорозі чорний!

Подивися, дівчина, який я моторний,

Подивися, вглянься, який же я вдався:

Хіба даси копу грошей, щоб поженихався.

Окончив свою пляску, шут сел на голой земле, поджав ноги по-турецки, и пропел под игру на бандуре еще несколько малороссийских песен, любимых его паном. Голос шута был чист и приятен, и в пении заметно было некоторое искусство. Пан Просечинский, нежась на пуховиках, свел глаза и как будто дремал; сыновья его выбежали из палатки и отправились смотреть своих собак и болтать с псарями и хлопцами; а дочь, сидя подле молодого мужчины, о котором выше было упомянуто, шепотом с ним разговаривала.

Между тем челядь толстого пана, отпрягши и расседлав лошадей, стреножив их и пустив на траву, собралась около кашевара, который, разведя большой огонь под открытым небом, готовил обед. Несколько медных котлов привешено было над огнем на железных присошках; большие кастрюли и сковороды шипели на углях, и голодная челядь, облизываясь, жадно на них смотрела.

В это время подошел туда нищий, который, прихрамывая, брел по дороге. Он остановился перед кружком, собравшимся около огня, или, справедливее, около кушанья, и жалобным голосом проговорил нараспев: "Православные христиане! сотворите милостинку, Христа ради!"

— Какой тебе милостинки от нас! — молвил один из хлопцев. — Мы сами смотрим на чужой обед, а глотаем только дым.

— Много вас, попрошаек, по большим дорогам, — прибавил другой. — Об вас-то и думать, когда самим есть нечего.

— Пан наш так добр, что, верно, не откажет тебе в рублевике, — подхватил третий с лукавым видом. — А у него их очень много: видишь ли этот окованный сундук, позади рыдвана? Там есть чем наделить всех нищих в свете. В рыдване и того больше: там четыре шкатулки с червонцами, с дорогими перстнями и самоцветными камнями. Да в той фуре, что стоит с краю от рыдвана, найдется другого-прочего тысяч на несколько. Попытайся: может быть, он тебе и уделит часточку.

Нищий, казалось, ловил на лету слова болтливой слуги. Может быть, он сравнивал бедную свою участь с богатым состоянием толстого пана; только заметно было, что он как будто бы что-то соображал или рассчитывал.

В эту минуту подбежали туда молодые паньичи. "Зачем здесь этот бродяга?" — закричал старший.

— Оставь его, брат, — сказал младший, — он нас позабавит. Эй, ты, калека! умеешь ли играть на волынке?

— Не умею, добродию, — отвечал нищий.

— Ну так пой и пляши! — подхватил младший паньич.

— Я стар и слаб, петь мне не по силам, а плясать могу ли я с хромою моею ногою и увечным телом?

— О, так ты еще и упрямишься! — завопил старший брат. — Только со мною даром не разделаешься: ты у меня запляшешь и через палку... Брат! возьми у псарей арапник и подгоняй этого уроды, а я буду держать палку: пустяка через нее поскачет!

При сих словах он вырвал клюку из рук нищего, и сей, от нечаянного потрясения, упал на землю и закричал громким болезненным голосом. Оба молодые шалуна стояли над ним и хохотали во все горло; малодушная челядь, из угождения ли своим паньичам или по врожденной жестокости, тоже смеялась над бедняком.

Пронзительный крик нищего перервал дремоту толстого пана; он зевнул, потянулся, спросил, что там делалось, велел позвать к себе сыновей и подавать обед.

Глава XX

А в сього пана скам'я заслана,

Та на тій скам'і три кубки стоять:

В першому кубці — медок солодок,

У другім кубці — кріпкеє пиво,

У третім кубці — зелене вино. Колядка

Четверо хлопцев внесли в палатку складной стол, накрыли его шленскою скатертью, и дворецкий толстого пана, отомкнув погребец, достал из него четыре полуштофика с разными водками и несколько серебряных чарочек без поддонников, установил все это на тяжелом серебряном подносе узорочной оброчной работы и поставил на стол перед своим паном. Хлопцы принесли потом на четырех или пяти тарелках сытную закуску, которая и теперь еще часто в малороссийских домах подается перед обедом и может заменить целый, весьма нескучный обед для желудков, не столько привычных к непрерывной работе.

— Жарко! — промолвил пан Просечинский прежним своим протяжно-томным голосом. — Выпью мятной водки: это меня освежит. Пей, Леонтий Михайлович! продолжал он, обратись к будущему своему зятю, молодому Торицкому, налив водки и подавая ему чарочку. — Это водка здоровая, прохладительная. — Потом выпил сам, вздохнул, как бы от полноты удовольствия, и закусил. Все семейство толстого пана собралось вокруг стола и дружно принялось закусывать.

— Мне все что-то нездоровится, — сказал Просечинский, склонив голову на сторону с видом человека расслабленного, — не подкрепит ли меня эта запеканка? — Тут он налил настойки из другого полуштофа, выпил и продолжал работать вилкой и зубами.

— Не отведать ли нам этой любистовки, Леонтий Михайлович? это нам придаст аппетиту; я же почти ничего не могу есть: кусок нейдет в горло.

Торицкий отказался, а толстый пан, выпив чарку, принялся есть с новою охотой, как будто бы в доказательство, что любистовка пробудила его аппетит.

— Выпить было кардамонной: авось-либо она согреет мне желудок. Это необходимо на рыбную и соленую пищу.

Вслед за этими словами пан Просечинский выпил четвертую чарку водки и принялся доканчивать закуску, которой и так уже немного оставалось, благодаря ревностным стараниям толстого пана и обоих сыновей его.

Между тем шут, стоявший поодаль в ожидании подачи, первый заметил нищего, который, остановясь у входа палатки, безмолвно кланялся и, казалось, следил глазами каждый кусок. Это был тот самый нищий, на которого перед сим нападали шаловливые паньчи.

— Разве ты не видишь, — сказал ему шут с таким видом, с каким жирный мопс косится на тощую дворовую собаку, умильно поглядывающую на кости, кои не для нее назначены, — разве ты не видишь, что панская прислуга еще не кушала? Убирайся за добра-ума: я так голоден и зубы мои так разлакомились, что могу и тебя схрустать вместо рыбьего позвонка.

Нищий, не отвечая на слова шута, запел Стих о убогом Лазаре звонким, резким голосом и произнося слова немного в нос.

— Прочь, прочь! — завопил пан Просечинский. — Я терпеть не могу этой сволочи, этих бесстыдных попрошаек, которые не хотят работать и выдумали ремесло — обманывать честных людей да жить мирским подаянием.

— Видишь ли, старец, — промолвил шут, — ведь я тебе советовал убираться за добра-ума; я

голоден, а пан мой не совсем еще сыт, и оттого мы оба сердиты. Моли бога, что во мне еще больше жалости, нежели в богатых панах! прибавил шут скоро и тихим голосом, подойдя к нищему и сунув ему в руку две копейки.

Но нищий, казалось, упорно хотел что-нибудь выманить у толстого пана: стоя на прежнем месте, он кланялся и твердил жалобным напевом: "Милосердые паны! сотворите божью милостинку старцу-калеке, бездомному и безродному".

— А, так ты еще и упрямышься! — закричал толстый пан. — Погоди, вот я велю спустить собак; тогда завопишь у меня другим голосом.

Молодая, мягкосердечная Олесья, дочь Просечинского, робко и умильно взглянула на своего отца. Торицкий, показывавший уже и прежде в выражении лица и телодвижениях худо скрываемое негодование на бездушие своего нареченного тестя, понял мысль своей невесты, подошел к нищему и, подав ему серебряную монету, проговорил "На, старец, молись за нее..." — Тут, указав быстрым взглядом на Олесю, отошел он и сел опять подле нее.

Нищий посмотрел на монету, взглядом и движением губ поблагодарил щедрого дателя, но все еще не трогался с места.

— Чего ж тебе еще, жадная собака? — вскрикнул Просечинский в сильной досаде и на упрямую назойливость нищего, и на слезы, навернувшиеся на глазах Олеси, и на сострадательность ее жениха. — Прочь отсюда, сию же минуту. Эй, псари! собак и арапников!

— Позвольте нам, батюшка! мы управимся с этим негодяем! — сказали оба паныча и, не дожидаясь ответа, кинулись к нищему. Он проворно отскочил назад и тем избег первого их нападения; другим скачком стал еще далее от палатки, но за третьим подпустил к себе панычей и быстрым, метким движением рук, схватя того и другого за шею, повернул их с необыкновенною силой и ударил о землю. В тот же миг он засвистал богатырским посвистом. Псари и хлопцы, сбжавшиеся на голос своего пана, сперва с малороссийским, насмешливым любопытством смотрели, как нищий отыгрывался от панычей. Когда же он повалил их на пол, тогда служители, дивясь такой дерзости, долго не могли опомниться и вступить за своих господ. И было уже поздно: едва раздался свист нищего — вдруг отовсюду, из-за кустов, из-за кочек, из густой травы, поднялись страшные люди, вооруженные с головы до ног. С громким, пронзительным воплем бросились они как саранча на челядь толстого пана; другие, на крик своих товарищей, летели во весь опор на конях из лесу, с поля, со всех сторон: у каждого был в руках большой нож, за плечами ружье, за поясом пистолеты. Одни схватили оторопелых псарей и хлопцев, другие бросились в палатку и задержали толстого пана, Олесю и Торицкого, третьи окружили возы и прибрали к рукам поваров, кучеров и остальных людей Просечинского. Никто не успел опомниться и подумать о побеге или обороне.

— Вяжите всех, — кричал Гаркуша, сбросив с себя накладные волосы, нищенское рубище и суму и являсь в легкой куртке, с полным вооружением гайдамака. — Вяжите всех; не троньте только молодой панночки, жениха ее да шута: их просто держите и не делайте им никакой обиды.

Все мигом было исполнено с самою раболепною точностью. Казалось, что шайка гайдамаков угадывала даже мысли своего атамана. Он стоял опершись правую руку на пистолет, бывший у него за поясом; лицо его было спокойно и не выражало ни малейшей страсти; но ястребиный взор его в один миг перелетал с места на место и обозревал все, что вокруг него происходило.

Связав толстого пана по рукам и по ногам, гайдамаки с диким, радостным криком вынесли его из палатки; таким же образом связали они и обоих его сыновей. Торицкий, не предвидев

опасности при выходе из коляски, оставил там свою саблю и пистолеты; но когда гайдамаки ворвались в палатку, тогда он, схватив столовый нож, стал перед своею невестой и решился отчаянно защищать ее. Усилия его были напрасны: четверо удалых, сильных гайдамаков схватили его за плеча и за руки и, посадив на подушки, на которых перед тем покоился будущий тесть его, крепко держали и не сводили с него глаз. Олесья, оцепеневшая от страха, была посажена рядом с ним, и приставленный к ней гайдамак, слегка ее придерживая, утешал ее и уверял, что ей не сделают никакого зла, что такова была воля атамана, которой никто не осмелился бы нарушить. Что касается до шута — его гайдамаки закутали в огромный халат толстого пана и, спеленав как ребенка персидским его кушаком, посадили на землю. Не потеряв головы и видя, что для него не было никакой дальней опасности, он начал слегка покачиваться и напевать однозвучную колыбельную песенку, точно так, как дети сами себя убаюкивают перед усыплением.

Людей Просечинского свели в одно место и, схватив им руки за спиною, привязали их друг к другу длинною веревкой, подобно цепи невольников. Робко и безответно бедняки покорялись своей горькой доле и ждали над собою еще больших бед. По знаку Гаркуши, гайдамаки в несколько минут выгрузили коляску, а в нее посадили всех женщин и малолетних, задернули полы и накрепко застегнули их ремнями и пряжками.

Тогда Гаркуша велел оттащить Просечинского и панычей к часовне, а сам пошел в палатку.

— Пан Торицкий! — сказал он, войдя туда. — И ты, добрая панна Елена! Вам нечего бояться: вы никому не желали зла, а напротив того, сколько могли, делали добро. Вот вам рука Гаркуши, что ни он, ни его вольные казаки не возьмут ни одной нитки изо всего того, что вам принадлежит. Гаркуша никогда не изменял своему честному слову: он не таков, как ваши паны и порядочные люди, которые держат слово только до первой встречи... С паном Просечинским будет у меня другая разделка: я давно ждал случая порядочно потазать его за дерзость, скупость и жестокосердие и хотел только сам увериться, правда ли было то, что мне о нем рассказывали...

Олесья зарыдала и закрыла лицо руками. Торицкий хотел вырваться из рук своих стражей, но осторожные гайдамаки предвидели это движение и удержали его.

— Напрасный труд, пан Торицкий, — сказал ему Гаркуша спокойно и важно.

— И что мог бы ты сделать, один и безоружный, против сорока таких удальцов, как мои? Нареченного же твоего тестя сам сатана со всем своим бесовским причетом не вырвал бы теперь из моих рук. Чему быть, того не миновать; что я положил у себя на сердце, то непременно исполню. Потом, переменив выражение лица, с улыбкою обратился он к шуту.

— Здравствуй, приятель, — сказал он ему, — да кто тебя так опоясал?

— Твоя прислуга, дядько! — отвечал шут. — Видно, они берегут мое здоровье и боялись, чтоб я не простудился. Умные люди говорят, что в сильные жары должно больше бояться простуды, нежели в трескучие морозы.

— Паливода! — сказал Гаркуша, взглянув на высокого, плечистого и курчавого цыгана своей шайки. — Вижу, что здесь не без твоих проказ; шут шута далеко видит. Однако же, пока я не велел самого тебя завязать в мокрый мешок и не приложил тебе нагайской припарки, так потрудись, развяжи своего товарища по ремеслу.

— Рябка не товарищ этого черномазому головорезу, — проворчал шут с заметною досадой, — у него самые дурацкие шутки; спеленал Рябка как малое дитя. А когда спеленал, так пусть и нянчит; только я наперед ему говорю, что я дитя самое упрямое и блажливое.

Между тем цыган развязал узлы, развил кушак и выпустил бедного Рябка на свободу. Первым

действием шута было то, что он вцепился в черные курчавые волосы цыгана и начал трясти ему голову, приговаривая: "Вот так, так сеют мак".

Гаркуша громко смеялся такому неожиданному поступку шута; но рассерженный Паливода схватил жилистыми руками своего противника под бока, стиснул его, поднял вверх и конечно ударил бы его о землю, если б Гаркуша не помешал ему в том.

— Ты столько меня позабавил, что я должен тебе заплатить за это, сказал атаман шуту. — Говори смело, чего бы ты хотел от меня?

— Прежде всего, отдай мой грош, который я тебе подал сегодня: он годится для нищей братии, а не для вашей братьи.

— Охотно, — сказал Гаркуша, сунул руку в карман и, вытащив из него червонец, подал шуту.

— Это не мой, — отвечал шут, глядя исподлобья на гайдамака, — этот запятнан, а мой был чист, как... как мои руки.

Гаркуша понял упрек. Он нахмурил брови, безмолвно опустил руку в карман, вынул несколько монет и, отыскав между ними грош, отдал его шуту. Потом, в раздумье подняв серебряный полуполтинник, поданный ему Торицким, сказал, оборотясь в ту сторону, где сидели жених и невеста:

— С этим я так легко не расстанусь: он подан мне добрыми, сострадательными душами...

И, как будто бы вдруг опомнясь или устыдясь минутной своей чувствительности, он не dokonчил речи и снова оборотился к шуту:

— Держи при себе свой чистый грош до первого старца и вместе с ним подай бедняку и мой, запятнанный. Теперь говори, чего ты еще у меня просишь?

— Вели меня отвести к моему пану. И ему и мне легче будет, когда мы вместе станем делить горе.

— Отведи его туда! — сказал Гаркуша Паливоде, а сам, поспешно вышед из палатки, велел задернуть полы оной и поставить вокруг нее шесть человек сторожевых гайдамаков.

Медленно и задумчиво шел Гаркуша к часовне; за ним, в некотором отдалении, цыган Паливода вел шута Рябка, держа за плечо и подталкивая его не весьма вежливо коленом. У часовни уже дожидалась большая толпа людей. Гайдамаки обступили служителей Просечинского, связанных друг подле друга и поставленных в полукруг. Сам толстый пан лежал посередине, зажмурив глаза, как будто бы свет солнечный действовал на него болезненным ощущением; казалось, он в каком-то онемении ждал готовившейся ему участи. Сыновья сидели по обеим его сторонам, плакали и жаловались на боль от туго затянутых веревок. Восемь гайдамаков, с длинными ножами наголо, наполняли остальную часть круга.

Когда Гаркуша подошел к кругу, гайдамаки расступились и впустили его в середину. Он стал прямо против лица толстого пана, тронул его ногою в бок, как бы желая растолкать его или пробудить его внимание, и с важным видом, громким и внятным голосом начал ему говорить:

— Спирид Самойлович! видишь ли, до какого унижения, до какого стыда довел ты себя! Ты, богатый и спесивый пан, которого боятся и уважают соседи, которому льстят и дают поблажку низкие судовые подлипалы, — валяешься теперь, как презренная колода, связан, как последний из твоих псарей, провинившийся перед тобою. Ты, верно, жалуешься на это, считаешь такой поступок несправедливым; а кто виноват? Сам ты. Вспомни дыбы, плети, цепи и рогатки, которыми ты мучил своих подданцев и дворовых людей; вспомни, что не раз я подкидывал к тебе письма, в которых увещевал тебя быть милосерднее, щедрее и грозил

тебе моим гневом, если не исправишься. Ты не слушался моих увещаний, ты надеялся на ваших судебных, которые тобою закуплены и задарены; ты думал, что слова Гаркуши пройдут мимо. Знай же, до меня дошло все: и презрение, с каким ты читал мои письма, насмешливо говоря: собака лает, ветер носит; и твоя похвальба на меня: "я-де скрочу его со всею шайкою"; и гостинцы, которые ты готовил мне и вольным моим казакам у себя в доме. Гаркуша не так прост, чтоб, очертя голову, кинуться в расставленные тенета: он умеет выбрать время и случай. Теперь, Спирид Самойлович, ты сам у меня в руках и должен поневоле идти на правож. Готовься со мною рассчитаться и поплатиться, а до тех пор ступай к часовне и моли бога о прощении всех твоих грехов. Я покамест займусь отеческим исправлением твоих панычей, которых сам ты не хотел или не умел учить страху божию, и оттого из них со временем вышли бы большие негодяи, ничем не лучше отца. Надобно им страх задать, чтоб помнили Гаркушу и его наставления...

— Напейся моей крови, нечестивый душегубец! — вскрикнул Просечинский, скрежеща зубами и злобно, с отчаянным остервенением взглянув на гайдамака. Какие бы муки, какая бы смерть ни ждала меня от поганых твоих рук, — я стану молиться, чтоб тебе не миновать колеса, а гнусной твоей шайке виселицы.

Ему не дали докончить. Зверообразный гайдамак Несувид, крещеный жид Лемет и крепкотелый любимец Гаркуши ускок Закрутич схватили его и поволокли к часовне. Там стал он на колени перед образом и, не сводя с него глаз, начал молиться, перечитывая шепотом все молитвы, которые приходили ему на память. Только доносившиеся до него порою крики и взвизгиванья сыновей его подергивали судорожным движением тучные его щеки, на которых выступал крупный, холодный пот. Три гайдамака, приведшие Просечинского к часовне, стояли в нескольких шагах у него за спиною, с длинными, широкими своими ножами на плечах.

Глава XXI

Бряжчатиме ж гостра шабля

Услід за тобою,

Шумітиме ж нагаечка

Понад головою! Малороссийская песня

— Пора! — раздался в ушах толстого пана грубый голос Несувиды. — Пора! там ждут. И гайдамаки снова подняли Просечинского и перенесли его на середину круга.

Бледен как полотно явился Просечинский перед самовольным своим обвинителем и судьей. Мутным взором обвел он место истязания. Прямо против него, на сундуках и подушках, покрытых дорогим его персидским ковром, сидел Гаркуша с строгим, но спокойным видом и допрашивал людей Просечинского, которые стояли на коленях и робко отвечали на вопросы. Но какую горячую кровью облилось отцовское сердце пана Просечинского, когда, с тяжким предчувствием отведя глаза в сторону, увидел он сыновей своих! Они лежали недвижно на войлоке, и на обоих накинута была красная попона, укрывавшая их с головы до ног. Несчастный отец не взвидел света: в ушах его раздался как будто шум воды, внезапно прихлынувшей, и он уже не слышал более ни слов Гаркуши, ни ответов своей челяди.

Когда толстый пан опомнился, то почувствовал, что его обливали холодной водой. Несколько гайдамаков стояли вокруг него, держа наготове орудия тяжкого и постыдного наказания, которое присудил ему неумолимый атаман. Гаркуша встал с своего места, подошел к нему и начал говорить.

— Я допрашивал твоих людей, пан Просечинский: они так запуганы тобою, что не смели сделать никаких показаний, и это самое уже служит доказательством жестоких твоих с ними поступков. Послушайся же моих доброжелательных увещаний: я делаю их от души, из прямой любви к ближнему! Люби, пан Просечинский, своих людей: они тебе служат; они потом и кровавыми трудами добывают то, что тебе доставляет роскошь и негу. Сам бог заповедал панам миловать слугителей как родных детей своих, не мучить их без пощады за малейшую вину, не томить их неумеренными трудами и голодом, не отнимать у них последних, потовых крох. Посмотри, с каким состраданием они смотрят теперь на тебя, хотя у многих из них не зажили еще на теле раны, которые они от тебя же получили. Что ж, если б ты был добрым паном, другом и благодетелем твоих подданных? Они любили бы тебя, как отца...

Гаркуша остановился, растрогавшись сам от своих слов — искренне или притворно, того никто не мог прочесть на лице и в душе его. В характере атамана была такая чудная смесь лицемерства с добрыми природными склонностями, холодной, расчетливой мстительности с наружным правосудием и благонамеренностью, что самые приближенные его, Несувид и Закрутич, обманывались в истинных или ложных его ощущениях и не могли разгадать того, что в нем происходило. Бывали минуты, в которые можно было подумать, что он сам себя обманывал. Так, может статься, было и на этот раз. Постояв несколько минут в молчании, посмотрев медленным, пытливым взором на лица людей Просечинского и своих гайдамаков, как будто бы с желанием доведаться, верят ли они проповедническим его чувствам и что думают о цели его красноречия, — он продолжал тихо и с расстановкой:

— Чтобы слова мои, Спирид Самойлович, были для тебя внятнее, чтоб они дошли до твоей души и сильнее врезались в твоей памяти, то потерпи немного... Я сам из уважения к твоей особе стану считать... Эй, вольные казаки мои, принимайтесь!..

В эту минуту шут Рябко вырвался из рук Паливоды, бросился на колени перед Гаркушей и кричал сквозь слезы:

— Пан атаман! возьми мою шкуру, выкрой, пожалуй, из нее чоботы для любого из твоих вольных казаков, только оставь в целостности моего пана. Он человек старый и мягкотелый; он не выдержит твоего отеческого исправления. А у Рябко кожа загорела и загорела; смотри: она так тверда, что хоть на барабан натяни — не порвется; и Рябко готов ее сменить на новую, лишь бы пана своего вызволить...

Цыган схватил шута за полы его жупана и тащил его прочь, между тем как Гаркуша смотрел на него с хладнокровною, бесстрашною улыбкой. Видя, что на слова его не обращали внимания и что пану его не избежать пытки, Рябко вдруг вскочил, обоими локтями толкнул цыгана так сильно, что тот не удержался на ногах и принужден был выпустить полы жупана. Не теряя времени, Рябко кинулся к толстому пану, прикрыл его своим телом и как клещ уцепился за него руками и ногами.

— Натяните же, режьте и ешьте меня, катовы дети! — с ожесточением кричал он гайдамакам. — Хоть искрошите меня в мелкие куски — я не сойду отсюда и не отстану от моего пан-отца: умру сам, а пока жив, не дам его тела на поругание!

Гайдамаки переглядывались между собою, как бы спрашивая друг друга глазами, что из этого будет, и в нетерпеливой досаде кусали себе губы. Несувид хмурил брови и клялся себе под нос, что сквозь ребра шута дознается правды от толстого пана; никто из них не смел, однако ж, начать что-либо прежде, нежели атаман даст приказание. Между тем шут подразнивал

гайдамаков и накликал на себя их мщение ругательствами. Гаркуша, казалось, тешился и задорною бранью шута, и недоумением и досадою своих удалцов. Он стоял сложив руки и посматривал на все происходившее вокруг него с таким видом, с каким взрослые люди смотрят на ребят, дразнящих привязанную кошку, которая фыркает, щетинится и мечется то на того, то на другого, со всем напряжением бессильной злости.

Наконец, наскуча сим зрелищем, Гаркуша подошел к шуту, толкнул его ногою и сказал: "Вставай, приятель! вижу твое усердие и храбрость и хвалю тебя за это: ты отчаянно защищал своего пана языком и спиною. Теперь я сам хочу доказать тебе мою благодарность за добрый твой совет и подаяние нищему: обещаю тебе, что пана твоего не тронут и пальцем..."

— Вправду ли, дядько?

— Разве ты слышал от кого, что Гаркуша не сдержал когда-нибудь своего обещания? Только и ты обещаю мне стоять смирно под надзором, ни во что больше не мешаться и не давать воли ни рукам, ни языку.

— О, пожалуй! И ты увидишь, что Рябко не хуже Гаркуши умеет держать свое слово. Бери меня, черномазый, — продолжал он, встав и оборотясь к Паливоде, — только, сделай дружбу, полегче держи меня за плеча. Ты и без того уже измял их так, что я целую неделю не смогу взяться за бандуру.

Гайдамаки пристально смотрели в лицо Гаркуши и молча ждали его повелений. Он провел указательным пальцем черту по воздуху в ту сторону, где лежали панычи, — и толстый пан мигом был туда перенесен. Просечинский сел в положении человека, который, только что быв вытасчен из воды, не может еще опомниться и собрать своих мыслей. С рассеянным видом озирался он вокруг себя, пока взор его снова остановился на сыновьях его, которые лежали затаив дух и не смея поворохнуться. Тут пробудилось участие в сердце отца, с тоскливым умилением глядел он на своих детей, но не решался заговорить с ними, боясь, чтоб ужасная истина не разрушила последней, шаткой его надежды.

Гаркуша между тем сел на прежнее свое место, и гайдамаки снова обступили его с видом ожидания. "По оброк!" — промолвил он, и гайдамаки, громко и радостно вскрикнув: "По оброк!", рассыпались в разные стороны, кроме тех из них, которым поручено было смотреть за толстым паном, за детьми и людьми его, сторожить у палатки и пр. Часть гайдамаков бросилась к коляске, фурам и возам Просечинского, несколько человек расстилали перед Гаркушей ковры, попоны и все, что могли отыскать в обозе толстого пана; а выкрест Лемет, подойдя к Просечинскому, с притворною, лукавою учтивостью и старинными своими жидовскими оговорками и божбами, просил его ссудить на время атамана ключами от походных своих сундуков и баулов и, не дожидаясь ответа, начал шарить у него в карманах, отыскал большую связку ключей и принес ее к Гаркуше.

Хладнокровный сторонний зритель подивился бы ловкости, сметливости и проворству, с какими гайдамаки обыскивали и опоражничали захваченный ими обоз. Из читателей наших легко могут об этом составить себе понятие те, которым случалось быть в руках французских таможенных приставов и осмотрщиков, особливо на заставе при переезде через Рейн, у Страсбурга. В минуту все было обыскано, вытаскано и снесено в одно место, и те из сундуков и шкапулок, кои заключали в себе самые ценные вещи, с редкою догадливостью были отобраны и расставлены перед атаманом.

Прежде всего Гаркуша, расспрашивая шута и других людей Просечинского, начал отбирать вещи, принадлежавшие Торицкому и Олесе. Все это откладывалось на сторону, и Гаркуша даже не отмыкал сундуков, чемоданов и шкапулок, в которых, по показаниям людей, находилась собственность панны Елены или будущего ее мужа! Атаман гайдамаков,

любивший при всяком случае с некоторым хвастовством выказывать свое бескорыстие или великодушие, отложил еще значительную долю из взятых им на свой пай дорогих вещей и червонцев и, положив в шкатулку, замкнул и отослал с другим имуществом жениха и невесты в палатку, строго подтвердив гайдамакам, чтобы все было доставлено в целости.

Тогда начался подел. С видом знатока и любителя, Гаркуша рассматривал и оценивал все вещи высокой цены, к тяжкому прискорбию толстого пана, который печально смотрел на расхищение своего богатства. При открытии каждого сундука с серебром, каждого баула с золотыми деньгами или шкатулки с драгоценностями гайдамаки испускали неистовый, радостный вопль, как стая воронов при виде мясной добычи, и этот вопль болезненно отдавался в ушах и в сердце толстого пана. Надобно было видеть жадные, сверкающие взгляды корыстолюбивой вольницы, когда перед нею рассыпали мешки с червонцами и рублями или раскладывали большие серебряные стопы и чаши, дорогое оружие, золотые парчи, камки и бархат! Надобно было видеть горькие ужимки и тяжелые вздохи толстого пана, когда перед его глазами Гаркуша с своею шайкой распивали, похваливая, любимую его водку, сладкие его наливки и редкие заморские вина! Такое зрелище могло бы сообщить понятие о радости злых адских духов, которые, подразнивая утратою земных благ, заживо мучат бедного грешника, попавшегося к ним в когти с телом и душою.

Атаман разделил всю добычу на три пая, из которых два были совершенно равные, а третий гораздо менее двух первых и по счету, и по ценности составлявших его вещей. Один из больших паев отложил он особо, говоря: "Это, товарищи, для кошевого скарба", другой разложил с математическою точностью на равные участки по числу гайдамаков, примолвля: "Это на вольных казаков". — "А это на атамана", — прибавил он, указывая на меньший пай. Тогда он отослал шута в палатку, велел поклониться от него Торицкому и Олесе и пожелать им счастливого пути, а сам подошел к Просечинскому.

— Прощай, Спирид Самойлович! — сказал Гаркуша толстому пану. — Я хотел с тобою распрощаться не так ласково; но, видно, богу было угодно, чтоб ты на этот раз отделался только страхом и потерей своих излишков. Помни, однако же, слова мои: будь милосерд к бедным и щади своих людей. Не то — как бог свят — ни высокие твои заостроженные заборы, ни крепкие твои замки и засовы не спасут тебя от Гаркуши и вольных его казаков. Пусть это будет тебе навет-кой на первый случай. Еще раз говорю, не вынуждай меня нагрнуть к тебе в гости и знай: Гаркуша вдруг, как снег на голову, налетит там, где его не ждешь, не чаешь. Панычи твои будут, кажется, помнить мои наставления и свои клятвы, а впрочем, не бойся за них: лоза не измучит, лишь добру научит.

Окончив сию речь, отошел он в сторону и выстрелил из пистолета на воздух — и вдруг с разных концов прискакали еще около двадцати гайдамаков, бывших в засаде для наблюдения и подания вести в случае какой-либо опасности. Они вели с собою лошадей тех из своих товарищей, которые перед нападением на обоз, спешившись, сидели в лесу или лежали в траве. Те, которые сторожили у палатки или наблюдали за связанными своими пленниками, сбежались также в одно место. Все они кинулись к своим участкам, мигом их расхватили, а Несувид и Закрутич прибрали также паи артельный и атаманский; и между тем как Олеся, сопровождаемая Торицким и Рябком, бежала к отцу своему и братьям, гайдамаки успели уже забрать и навьючить лучших лошадей толстого пана, вскочили сами на коней, пустились во весь опор по полю вслед за атаманом — и только пыль вилась за ними густым облаком.

Глава XXVII. Ночлег Гайдамаков

Як виїхав козаченько в чистее поле,

Пустив свого кониченька на попасанне,

А сам припав к сирій землі из спочиванне

Та й приснився козаченьку дивнесенький сон... Малороссийская песня

Табор гайдамаков расположился в чаще леса, на поляне. Гайдамаки, по обыкновению своему, разнеся из предосторожности войлоки и циновки по сучьям деревьев, зажгли костры и начали готовить себе ужин. Для атамана, его приближенных и других старшин шайки поставлены были два полстяные шатра, наподобие калмыцких кибиток. В одном из сих шатров, на войлоках и бурках, отдыхал Гаркуша, окруженный теми из гайдамаков, к которым питал он более приязни или оказывал более доверия. Это были: угрюмый Несувид, который под суровою наружностью хранил испытанную верность и преданность к своему атаману-товарищу; ускок Закрутич, готовый всегда по слову Гаркуши идти в огонь и в воду и одаренный необычайною телесною силой; Лесько, или Алексей, молодой промотавшийся чумак, которому от гайдамаков дано было прозвание Лесько Мотыга; этот молодец нравился Гаркуше своею неизменною веселостью, беззаботностью о будущем и открытым, простосердечным своим взглядом. Четвертый из любимцев Гаркуши был семнадцатилетний мальчик, Ивась, любивший атамана, как родного отца. Ивась имел весьма приятную наружность и забавлял иногда Гаркушу в свободное время своим пением и пляскою, но никогда не был еще употреблен во время разъездов и набегов, а оставался всегда при обозе, с запасными. Никто из гайдамаков не знал, кто он был и какого рода; в одну бурную осеннюю ночь атаман, возвратясь из одинокой своей отлучки, привел с собою этого мальчика и с тех пор заботился о нем, как о ближнем своем родственнике. Гайдамаки все полюбили Ивася за его тихость и детскую чистоту души — свойства, которые нередко нравятся и самым закоснелым злодеям; но не спрашивали или не смели спрашивать нем у Гаркуши, ибо никто из них не решился бы выведывать у атамана своего тайны, которой он сам не хотел им верить. В других, важнейших случаях Гаркуша не допускал их ни до каких сомнений и первый объявлял им то, о чем нужно им было знать.

Второй шатер оставлен был в распоряжении Товпеги, Паливоды и еще пяти или шести урядников или десятников, поставленных в это звание Гаркушею, между коими обыкновенно втирался туда выкрест Лемет, который, по старой еврейской своей привычке, умел всегда подделываться к старшим, прислуживаться им, словом, быть для них почти необходимым, и чрез то извлекать для себя множество мелких выгод. Прочие гайдамаки, приставя коней своих к вязанкам травы, захваченной ими по дороге, либо сидели у огня и ждали ужина, либо, укрывшись бурками и свитами, лежали в разных местах табора.

После ужина, за которым атаман всегда ел из одного котла со всеми людьми своей шайки, кроме сторожевых, назначавшихся по наряду, Гаркуша ранее обыкновенного ушел в свой шатер; Несувид, Закрутич, Ивась и Лесько также отправились туда почти вслед за ним.

— Чудное дело! — сказал атаман после долгого молчания, когда он и четверо его товарищей улеглись, не раздеваясь, на своих подстилках. — Вот уже с полгода, как меня что-то тянет на мою родину, которая, помню, как сквозь сон, должна быть здесь, около степной деревни пана Просечинкого. Мне все кажется, что я не буду ни счастлив, ни спокоен, пока не увижу снова тех мест, где росло мое детство. Почти каждую ночь неведомо кто обещает мне во сне что-то смутное в здешнем краю: и радость, и горе... коротко сказать, сам я ничего не разберу в этих сонных грезах, а никак не могу выбить их из головы.

— Что ж? может быть, сердце вещует тебе все доброе, а сон твой и в самом деле сулит тебе что-нибудь такое, о чем сначала, как ни раскидывай нашим коротким умом — не разгадаешь

прежде, чем наяву сбудется, — сказал Закрутич.

— А ты веришь снам? — спросил у него Гаркуша.

— Не шути, атаман, снами: между ними есть такие, которые насылаются на человека, чтоб он выводил из них себе пользу, или остерегался, от чего нужно.

— Я и позабыл было, — молвил Гаркуша, — что ты родился в такой стороне, где больше всего верят бабьим бредням.

— Атаман ничему не верит, — вплелся в их разговор Лесько. — А я скажу, что тот, кто так близко видел ведьму, как я, поневоле станет верить всем таким диковинкам.

— А ты видел ведьму? — спросил у него Гаркуша с насмешливым любопытством.

— Не то, чтобы видел, — отвечал Лесько, — а вот как было дело: когда мне было лет девятнадцать, тогда в летнюю пору я спал каждую ночь на дворе, для того что в хате было душно и чтобы по ночам стеречь скотный двор. Вот в одно время, только что я улегся, только свел глаза, — вдруг подошло ко мне что-то, наклонилось и дохнуло на меня таким холодным духом, что я весь заковенел: ни руки, ни ноги не смог повернуть, ни глаз открыть; а только слышал, как оно пошло на скотный двор, как доило наших коров, у которых к утру не осталось ни капли молока. У меня была тогда лихая собака, ярчук, да еще и с волчьим зубом; на другую ночь, я привязал моего Рябка под телегой, на которой сам спал. Около полуночи слышу, ярчук мой так и заливаается, и мечется из-под телеги. Я спустил его с привязи, он и бросился к плетню в конце двора, и залаял и зарычал пуще прежнего. Погодя немного там что-то вскрикнуло женским голосом, как будто от сильной боли. Я поглядел в ту сторону — ворота были заперты; только, еще спустя миг — другой, что-то шасть через плетень, инда земля застонала. Ночь была темна, ничего нельзя было разглядеть порядком; а на рассвете нашел я у плетня подле ворот лоскуток намитки, как видно, оторванный у ведьмы моим ярчуком.

— По этому, ты видел не ведьму, а только лоскуток ее намитки? — промолвил атаман, когда Лесько окончил свой рассказ.

— Да, — отвечал Лесько, — с меня и этого довольно.

— Когда у нас пошло на рассказы, — говорил Гаркуша, — то я напомним тебе, Закрутич, о твоём обещании, которое до сих пор оставалось за тобой в долгу. Ты когда-то сулил мне рассказать свои похождения.

— Мои похождения, атаман, не важны, и повесть о них не долга. Родину мою ты знаешь; я родился в одном селении, неподалеку от Звониграда; отец и мать мои были люди бедные и покинули меня на этом свете без всякого достатка, без роду и племени, когда мне только что минуло семнадцать лет: оба они сошли в могилу ровно через две недели друг после друга. Спустя полгода по смерти их я спознался с молодою Хавой, дочерью богатого и гордого морлака в нашем селении, Яцинта Порадича. Хава была очень пригожа лицом, так пригожа, что у меня и теперь еще бьется сердце, когда о ней вспомню. Ее любил и племянник нашего войводы; только Хава любила одного меня, за то, что я был виднее собою, удалее и складывал для нее морлацкие песни. Вот однажды Хава сказала мне: "Вуко Закрутич! принеси мне ожерелье из червонцев — и я твоя". Тогда же начал я подумывать, как бы уйти в горы, к гайдукам, и с ними награть червонцев у богатых турецких беев и аянов в Боснии; как вдруг меня в одно утро схватили, отвезли в Звониград и записали в пандуры, по проискам войводского племянника, который, видно, дознался, что Хава меня любила. Не долго, однако ж, удалось им погулять надо мною: я и спал и видел, как бы сделаться ускоком. Скоро мне удалось это спроворить: я был таков, и убрался исподтишка в горы, где знакомые гайдуки очень радушно приняли меня в свои товарищи. Два года я ходил с ними на добычу по разным

местам Далмации и Боснии; червонцев у меня появилось столько, что стало бы на десять ожерелий. Тут я вздумал наведаться Хавы и, если можно, увезти ее с собою в горы. Конь у меня был как зверь: не знал усталости и птицею летал по самым трудным местам. Ночью прискакал я к дому Порадича. Окно светлицы, в которой сживала Хава, было в сад; я пробрался туда и увидел, что окно было отворено и Хава сидела одна в светлице, за работой. Бедняжка была задумчива, как будто не примечала ничего вокруг себя, и, сдавалось, грустила о чем-то, может быть обо мне. Я тихонько влез в окно, подошел к ней, хотел взложить ей на шею ожерелье из червонцев, — как она вдруг оглянулась, задрожала всем телом, вскрикнула: "Вампир! Вампир!" — и без памяти ударилась об пол. На крик ее сбежались отец, мать, вся дворня, и все, указывая на меня, кричали: "Вампир! Вампир!" Крик этот скоро разлился по всей деревне; все сбегались, кто с винтовкой, кто с ганцаром, кто с ятаганом. Я видел, что мне со всеми сладить было нельзя, и бросился из окна в сад. "Бейте его!" — заревел старый Порадич, сам выстрелил в меня из пистолета и ранил меня в левое плечо; но я добежал до своего коня, вскочил на него и опрометью помчался из селения. По улицам бегала толпа народа с зажженными пучками соломы и с разным оружием; увидя меня, все кричали: "Вампир! Вампир!", стреляли в меня, бросали камнями и чем попадая; однако ж, спасибо доброму моему коню, он вынес меня из этого ада без дальних ран. Долго еще отдавался в ушах моих крик бешеной толпы: "Вампир! Вампир!", и я не мог ума приложить, как никто из прежних моих знакомых не узнал меня, да и сама Хава не могла распознать моего лица. Отбежав от селения примерно верст семь, конь мой вдруг зашатался и упал; я соскочил с него вовремя. Тогда только я заметил, что верный мой товарищ сам был изранен в четырех местах пулями. Время было подумать об нем и обо мне самом. Я изодрал дорогую турецкую шаль, отбитую мной у одного босняцкого бея, перевязал раны бедному моему коню и свое плечо. Голова у меня закружилась от сильной потери крови; я упал и не помню, что после со мною было. Когда ж я опомнился, то увидел себя в келье; около меня сидело двое монахов, которые старались меня привести в чувство и подать мне всякую помощь. Какой-то добрый старец их монастыря нашел меня и коня моего рано поутру подле дороги. Верного моего товарища уже не было в живых; но во мне монах заметил признаки жизни. Он позвал еще троих братии, и вместе они перенесли меня в свой монастырь. Через неделю я почти совсем оправился старанием честных отцов; отдал на их монастырь все червонцы, которые сберегал для Хавы, и пешком уже отправился в горы к гайдукам. Мой побратим, молодой гайдук Юра Радивоич, встретил меня на дороге и сказал мне, что Янко Лепан, племянник войводы, и Яцинт Порадич подсылали к гайдукам какого-то переметчика, который распустил в горах слухи, что я служил с пандурами, был убит в одной сшибке с гайдуками и теперь брожу вампиром, чтоб отомстить гайдукам за смерть мою. "Этому слуху все поверили, — примолвил Юра, — и стерегут тебя, чтоб убить и разорвать тебя по частям с обрядами, какими в обычае у нас прогонять вампира с этого света". Тут только я понял и страх Хавы и окрик, который на меня дали по всей деревне: лиходеи мои взвели на меня такую небылицу, чтоб оторвать от меня сердце Хавы и принудить ее выйти за Янка.

Нечего было делать- я не хотел идти на вольную смерть и понести с собою в могилу проклятие всех честных людей. Мне должно было проститься навеки с моею родиной; ко прежде я хотел кровавыми слезами отлиться Янку Лепану и Яцинту Порадичу. Короче: помня пословицу моей родимой стороны кто не отомстится, тот не освятится, я положил у себя на душе страшную клятву извести моих злодеев во что бы то ни стало. С помощью моего побратима собрал я все, что имел, достал другого коня, простился с добрым моим Юрой и отправился туда, куда манила меня кровь заклятых моих неприятелей. Днем прятался я в скрытных местах, а ночью бродил, как мертвец, около селения и выжидал случая выполнить мою клятву. Она была выполнена: Янко Лепан и Яцинт Порадич от моей руки пошли в могилу; Хава, как я узнал от сторонних людей, скоро после первого моего появления умерла со страха и с горести; а я долго бродил из края в край, зашел в Польшу, оттуда в Киев, где встретился с тобою, атаман. Остальное ты знаешь так же хорошо, как и я сам.

— Так в вашем краю очень верят тому, будто бы есть вампиры на свете? спросил Гаркуша у

Закрутича.

— Да нельзя и не верить, — отвечал ускок, — после того, что я слышал в горах от одного старого гайдука.

— Что же ты слышал?

— Это длинный рассказ, атаман; боюсь, чтоб он тебе не наскучил. Ты, может быть, утомился и хочешь уснуть...

— Ничего, рассказывай. Уснуть я так же хорошо могу под шум твоих речей, как и под вой этого ветра.

— Да, ветер поднялся сильный; так и колышет деревьями, инда корни скрипят; а ночь темна, хоть глаз выколи... — сказал Закрутич, привстав и выглянув из шатра,

— Вот самая пора бродить мертвецам либо нашей братье, — примолвил Лесько.

— Только, верно, не тебе, — перебил его речь Гаркуша, — тебя, думаю, и по шее не выбил бы одного в такую пору. Однако ж, не мешай Закрутичу забавлять нас своим рассказом.

— Когда на то твоя воля, атаман, — сказал Закрутич, — то будь по-твоему. Наперед всего я должен сказать тебе, что я знал в горах одного лихого гайдука, у которого в седых усах было, верно, больше отваги, чем у многих из нас в целом теле. Старый Скорба не боялся ни сабли, ни пистолетов, ни ружья турецкого, и я думаю, не побоялся бы самого сатаны. Везде он шел грудью вперед, как бы ни велика была опасность; никогда не спрашивал, много ли неприятеля, а только далеко ли до него. В одну ночь шел я с ним и другими гайдуками на добычу: это было в Боснии. Ночь была месячна, и я заметил, что седой наш удалец часто поглядывал в сторону, на косогор, где было турецкое кладбище. "Что ты там видишь, товарищ?" — спросили мы у него. "Ничего покамест", — отвечал он. "А разве случилось тебе видать что-либо в такую пору?" — "Поживите с мое, так и вы увидите", — промолвил он. "А все не худо бы узнать о том для переду", — сказали мы в один голос. "Ну, так слушайте", — был его ответ. Тут он начал нам рассказывать страшную быль...